



НОВАЯ ПОЛЬША 11/2009

Содержание

1. ИСТОРИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
2. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
3. МАРЕК ЭДЕЛЬМАН
4. А «ПЛОТ» ПЛЫВЕТ...
5. МОЛОДЁЖЬ В СТАРОМ МОНАСТЫРЕ
6. СВЕТ ПАВЛА МУРАТОВА
7. АХЕРОН
8. СТИХИ
9. РИТМЫ МЕТАМОРФОЗ ПОЭЗИИ БОГДАНА ЗАДУРЫ
10. ЗАСЛУГИ И ГРЕХИ ПАРТИЗАН
11. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
12. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
13. ЗАЛОЖНИКИ, или БУБНОВЫЙ ТУЗ
14. СОЛИСТ

ИСТОРИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Каникулы кончились, мертвый сезон уходит в прошлое, однако тема интеллигенции остается животрепещущей — в Польше она к сезонным никак не относится. К примеру, Мариуш Цесляк («Ньюсуик», 27 сент. 2009), похоже, не обращает внимания ни на последний завет Лешека Колаковского («Я сделал потрясающее открытие: польская интеллигенция существует!»), ни, хуже того, на факты. Полемизируя с Яцеком Жаковским, он не только отрицает значение интеллигенции в свержении коммунизма и — в более близкие нам времена — правительства ПиС, но и не верит в ее soft power, т.е. в способность завоевывать авторитет, и даже в самое возможность ее дальнейшего существования.

Цесляк основывает свои выводы на сильном аргументе: «Интеллигенции в привычном для нас значении нет ни в одной западной стране. Ключевую политическую роль играет там средний класс, который вскоре появится и у нас». Это правда: на Западе, к примеру, в Италии, понятие «*intelligenza*» транскрибируется именно так и берется в кавычки, поскольку до сих пор считается заимствованием из польского или русского.

Сама эта «прослойка» действительно образовалась в нашем уголке континента — по очень простой причине. В царской России на протяжении многих веков, а в Польше — по меньшей мере со времен разделов судьба подданных и ход государственных дел зависели только от власти. Если добиться каких-нибудь послаблений или даже привилегий для своей группы, слоя, цеха — на коленях, реже с помощью бунта — подданные еще могли, то на общий ход дел, на направление развития страны повлиять не мог никто, кроме самодержца и его камарильи. Поскольку решения такой власти редко бывали продиктованы здравым смыслом и государственными интересами, рано или поздно должна была появиться группа людей, которые: а) интересовались не только материальной выгодой собственного общественного слоя, уезда, цеха, объединения, класса; б) располагали временем, знаниями, а главное, той тягой, старомодно называемой «общественная жилка», т.е. желанием вмешиваться в общественные,

общенациональные и даже международные дела, которая была прерогативой власти — если и просвещенной, то, как правило, отблеском свечей или костров.

То были люди образованные, но очень долго беззащитные — вплоть до ликвидации безграмотности и распространения печати, а затем средств массовой информации. Тогда они получили возможность действовать. Оплевываемые и порицаемые, интеллигенты воспользовались этой возможностью. Вот так и получилось, что в Польше и России непропорционально большое влияние на общественное мнение получили писатели. Потому-то здесь и родилось выражение «властитель дум». Словацкие и Толстые причинили царской власти больше проблем, чем бомбометатели. Прошло двести лет со дня рождения Юлиуша Словацкого и вот-вот исполнится сто со дня смерти Льва Толстого, за власть над думами сегодня борются рэперы, но традиция сохранилась. Достаточно спросить опытного полицейского, кто такие интеллигенты, и мы услышим, что в случае чего это первые кандидаты в списки интернированных.

Что же касается отсутствия на Западе отдельной прослойки критиканов с их вечными претензиями, то этим аргументом никто не повредит ни нашей интеллигенции, ни выводам Жаковского. На Западе священники тоже боролись с правительством за освобождение их от налогов, торговцы — за отмену пошлин, магнаты — за собственную армию, рабочие — за сокращение рабочего дня, крестьяне — естественно, за КССС^[1], одним словом, каждый за себя. Однако, когда их стране грозила опасность, все, поразмыслив, становились на ее защиту. Почему? Потому что на протяжении столетий им удалось сделать государство механизмом защиты собственных прав: тут добиться Великой хартии, там Нантского эдикта, еще где-то — декларации о правах или конституции. Американская конституция состоит всего из нескольких пунктов, защищающих граждан от злоупотреблений власти, а также из немногочисленных поправок. Было что защищать — о такие государства и разбивались нашествия абсолютных монархов, ханов, халифов и фюреров.

А посему не нужна была в этих странах особая прослойка умников, вмешивающихся в дела власти, — раз последняя контролировалась законом и была старательно разделена на законодательную, исполнительную и судебную, а не сосредоточена в одних руках (как, с позволения сказать, должность генерального прокурора и министра юстиции^[2]). У каждой из общественных групп нашелся необходимый

минимум государственного инстинкта, чтобы взрослые страны в решающий момент сумели преодолеть групповые притязания и партийные склоки.

Обществу, которому столетнее иностранное господство, истребление оккупантами элиты, уничтожение молодежи во время восстания и диктатура неучей с несколькими рецидивами не позволили повзрослеть, интеллигенция, похоже, всё еще необходима. Да-да, для будущего. Будущее принадлежит странам, которые вкладывают в образование больше, чем в социальные пособия и вооружение. Молодежи предстоит прыжок не с заступом, а с логарифмической линейкой. Очкарики, объединяйтесь, черт вас побери!

-
1. Касса сельскохозяйственного социального страхования, обеспечивавшая польским крестьянам социальные привилегии.
 2. В Польше эти должности были законодательно совмещены. Совсем недавно, несмотря на ожесточенное сопротивление «Права и справедливости», Сейм принял закон о разделении этих функций.

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

- Президент Лех Качинский подписал Лиссабонский договор. На церемонии в президентском дворце присутствовали премьер-министр Дональд Туск, председатель Европарламента Ежи Бузек, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредрик Райнфельдт. Договор позволяет принимать некоторые решения большинством голосов, наделяет ЕС правоспособностью, вводит должности постоянного председателя Европейского совета и верховного представителя по внешней политике. («Газета wyborcza», «Дзенник — Газета правна», 12 ноября)

- “Европейский комитет Совета министров официально принял программу польского председательства в ЕС во второй половине 2011 года. Наиболее важные цели — усиление европейской оборонной политики и обеспечение Европе энергетической безопасности”. («Дзенник — Газета правна», 23 сент.)

- “В Европарламенте распределили задания. Отношения с Украиной, Белоруссией и НАТО достались Польше (...) Мы получили три важных, с польской точки зрения, делегации. Председателем делегации по связям с Украиной стал Павел Коваль из «Права и справедливости» (ПиС), бывший замминистра иностранных дел; делегация по связям с Белоруссией второй раз подряд досталась Яцеку Протасевичу из «Гражданской платформы» (ГП), а Яцек Сариуш-Вольский (ГП) будет отвечать за отношения с НАТО”. («Жечпосполита», 1 окт.)

- “Расстановка сил в Европарламенте после недавних выборов: Европейская народная партия (EPP-ED) — 264 места (в т.ч. 28 евродепутатов от ГП и польской крестьянской партии ПСЛ), Партия европейских социалистов (SOC) — 161 (в т.ч. 7 евродепутатов от Союза демократических левых сил (СДЛС)), Евроконсерваторы (UEN) — 56 (в т.ч. 15 евродепутатов от ПиС), Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE) — 80, Зеленые — Европейский свободный альянс (Greens-EFA) — 53, Европейские объединенные левые/Лево-зелёные Севера (EUL/NGL) — 32, Независимость и демократия (ID) — 18,

беспартийные (НА) — 72. Общее количество евродепутатов — 736”. («Польша», 15 сент.)

- “Европарламент утвердил кандидатуру Павла Самецкого, сменившего Дануту Хюбнер на посту комиссара по региональной политике. За него проголосовало 360 евродепутатов из 474 присутствовавших”. («Впрост», 27 сент.)

- “Вчера в Тригороде (Гданьске, Сопоте и Гдыне) начался четвертый за время правления Леха Качинского саммит Вышеградской группы (...) Лех Качинский принимает президентов Словакии, Чехии и Венгрии (...) Одна из главных тем переговоров — создание общих посольств в Африке, Южной Америке и Азии”. («Польша», 12-13 сент.)

- Вице-премьер Словакии Душан Чаплович: “Я ценю слова польского президента Леха Качинского, которые он произнес 1 сентября во время церемонии на Вестерплатте. Извинение за нападение на Чехословакию в 1938 г. — очередное свидетельство того, что мы умеем цивилизованно подводить черту под старыми обидами и смотреть в будущее как союзники и друзья. Нынешняя Словацкая Республика не является ни юридической, ни исторической преемницей словацкого государства времен войны. Тем не менее уместно будет выразить сожаление по поводу того печального факта, что в трагическом сентябре 1939 г. словацкие солдаты вошли на территорию Польши бок о бок с немецко-нацистской армией”. («Газета выбора», 28 сент.)

- “Еврокомиссия признала вчера свою ошибку и повысила прогноз роста ВВП для Польши. По мнению европейских аналитиков, наша экономика вырастет в 2009 г. на 1%. Еще в мае Комиссия прогнозировала падение на 1,4%”. («Польша», 15 сент.)

- Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель МВФ: “Польша не избежала отрицательных отголосков глобального финансового кризиса, но справилась с ними лучше, чем большинство остальных стран региона. (...) Заметно выделяясь на фоне остальной Европы, экономика Польши выросла в четвертом квартале 2008 и в первой половине 2009 года. Этим успехом она обязана устойчивому потреблению и сравнительно небольшой зависимости от экспорта. По сравнению с экономикой соседей, внутриспольское экономическое пространство велико и относительно закрыто. Вдобавок Польша вошла в кризис без серьезных внутренних и внешних потрясений, что в значительной степени объясняется ведущейся уже многие годы солидной экономической

политикой. Кроме того, нам посчастливилось иметь в МВФ одного из бывших польских министров финансов Марека Бельку, который руководит нашим европейским департаментом. Его польский опыт оказался бесценным”. («Политика», 19 сент.)

• Марек Белька, бывший премьер и министр финансов: “Одним из факторов, благодаря которым наша экономика довольно неплохо справилась с кризисом, стало то, что правительство ничего не делало, хотя со всех сторон от него требовали немедленных действий”. («Дзенник — Газета правна», 14 сент.)

• “Элитарный клуб самых богатых государств мира насчитывает пока 38 стран. В каждой из них показатель социального развития превышает 0,9 (...) В 2007 г. (это самые свежие доступные данные) Польша достигла показателя 0,88 и заняла 41 е место в списке наиболее развитых стран земного шара, опередив 140 стран (...) В последнем рейтинге благосостояния ООН учитывает три фактора: уровень здоровья, связанный со средней продолжительностью жизни, уровень образования и грамотности, а также доход на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальной валюты, а не только текущего курса. (...) Пока нас опережают страны Западной Европы, США, Япония, Южная Корея и самые богатые страны Персидского залива”. (Енджей Белецкий, «Дзенник — Газета правна», 6 окт.)

• “У нас 52 млрд. дефицита (...) Министр Ян Ростовский говорит, что для беспокойства нет причин, так как долг не превышает 55% ВВП”. («Впрост», 27 сент.)

• Лешек Бальцерович: “Наша страна становится на ноги, поэтому для нас опасен даже государственный долг порядка 50% ВВП. Это соответствует 80–90% ВВП в развитых странах, у которых другая макроэкономическая история. Меня беспокоят признаки недооценки этого факта (...) Кроме того, существует еще т.н. скрытый государственный долг, который, по подсчетам, намного больше официального, а одна из его составляющих — обязательства по отношению к будущим пенсионерам (...) На фоне других государств замедление экономики было у нас сравнительно небольшим, отсюда резонный вопрос: почему оно сопровождается столь ощутимым ухудшением состояния государственных финансов? (...) По моему мнению, 6 процентный дефицит государственных финансов и долг более 50% ВВП — это поводы для огромной мобилизации”. («Жечпосполита», 25 сент.)

- “Государственные расходы росли быстрее, чем ВВП. Это яркий пример политического оппортунизма, одобренного, конечно, лозунгами о социальной заботе. Отсюда такие подарки, как пособия на рождение ребенка или семейные льготы. Их ввели, давая понять, что благодаря ним демографическая ситуация в Польше будет улучшаться. С этой точки зрения, лучше уж импортировать аистов”. («Дзенник — Газета правна», 15 сент.)
- “Рекордный форум (...) 2 тыс. гостей, в том числе 1,1 тыс. иностранных, 900 диспутантов и 140 панельных дискуссий и специальных событий — в этом году XIX Экономический форум в Кринице был во многих отношениях рекордным. Встречу освещали почти 400 журналистов из полутораста с лишним редакций со всего мира”. (Петр Мазуркевич, «Жечпосполита», 21 авг.)
- “Мнения участников панельной дискуссии «Российский газ на европейском рынке. Правила игры» в Кринице совпадали в одном: перекрытие газа Украине имело политический подтекст, было следствием политических амбиций Кремля и наверняка может повториться. Участники дискуссии «Политика России по отношению к ЕС и ее членам: стремление к сотрудничеству или принцип ‘разделяй и властвуй’?» искали причин использования Москвой газа в качестве политического оружия. «Москва никогда не согласится потерять влияние на постсоветском пространстве. Даже если придется прибегнуть к силе», — заключила Наталья Дмитриенко, пресс-секретарь российской партии «Правое дело». Жан-Сильвестр Монгренье, эксперт французского Института им. Томаса Мора, сказал, что отношение России к ЕС можно в общих чертах определить как «смесь презрения и враждебности». (Татьяна Серветник, «Жечпосполита», 21 сент.)
- “Новые поставки газа в Польшу Россия ставит в зависимость от увеличения влияния «Газпрома» на транзитную трубу в Германию (...) Ультиматум Польше поставил вчера на радио «Эхо Москвы» Дмитрий Песков, пресс-секретарь премьер-министра Владимира Путина”. («Газета wyborcza», 9 сент.)
- “С начала 2011 г. Польша сможет увеличить импорт газа с южного направления на 0,5 млрд. кубометров при нынешнем уровне потребления 14 миллиардов. Это стало возможным после достижения договоренности между государственным оператором промышленных газопроводов «ГазСистем» и чешской компанией «RWE Transgas Net» о постройке газопровода «Моравия» между чешским городом Тршановице и польскими Тешинем и Скововом”. («Жечпосполита», 10 сент.)

- “Россия отменяет очередной тур переговоров по дополнительным поставкам газа в Польшу. Зимой горючего может не хватить. (...) Россия отменила переговоры, не назначив другого срока”. («Дзенник — Газета правна», 30 сент.)

- “Предложенная консорциумом «Норд-Стрим» трасса Северного газопровода из России в Германию пересекает фарватер, ведущий в порты в Щецине и Свиноустье. (...) Фарватер достигает глубины 14,3 м, но в месте прокладки трубы диаметром 1,4 м его глубина уменьшается до 12,9 м. Между тем сегодня по этому пути в польские порты заходят корабли с осадкой 13,2 м. После прокладки трубы возможности углубить фарватер уже не будет (...) Для безопасного плавания кораблей с катарским газом, осадка которых составляет 12,5 м, требуется фарватер глубиной 14,3 м., т.е. такой, как в настоящий момент, без трубы на дне. В других судоходных акваториях труба будет вкопана в дно моря (...) на глубине до 5 м под поверхностью дна”. (Анджей Кублик, «Газета wyborча», 2 ноябр.)

- “Путин обвел Туска вокруг пальца. Открытие Вислинского залива — фикция. Соглашаясь на проход польских судов, Владимир Путин одновременно отрезал Эльблонг от иностранного судоходства (...) Российское правительство еще в середине июля, т.е. за полтора месяца до визита Путина на Вестерплатте, издало положение, которое делает заход иностранных судов в порт Эльблонг практически невозможным. Непольский судовладелец, намереваясь войти в Вислинский залив, должен за 15 дней до этого попросить разрешения в калининградском порту. Согласно документу, «Обращение (...) направляется капитаном морского порта Калининград на согласование в Министерство обороны Российской Федерации, территориальные органы безопасности и пограничные органы, а также в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (...) В выдаче разрешения может быть отказано, если этого требуют интересы обороны, безопасности государства или сохранения экологического баланса». При такой ситуации суда (...) будут идти в обход Эльблонга и выбирать другие порты”. (Михал Кшимовский, «Впрост», 27 сент.)

- “На Куявах земля такая же дорогая, как в Люксембурге. Агентство сельскохозяйственной недвижимости продало на Куявах участок площадью 11 га за рекордную сумму 944 тыс. злотых. Крестьяне хотят увеличивать хозяйства, но лишь немногие выставляют землю на продажу (...) На одних из последних торгов Агентство выручило по 85,8 тыс. злотых за гектар земли на Куявах. Средняя цена, по которой АСН продает

землю, составляет сегодня 15,6 тыс. злотых за гектар — на треть больше, чем год назад”. («Жечпосполита», 30 сент.)

- “Коровий ад в обычном животноводческом хозяйстве. Коровы не держатся на ногах, лежат в собственных экскрементах, они истощены, покрыты ранами. По мнению поветового ветинспектора в Лемборке, это обычное хозяйство. 600 коров живут здесь в трех коровниках (...) Некоторые из них не могут подняться даже с посторонней помощью. Ждут убоя (...) 14 сентября на территорию хозяйства в сопровождении полиции вошли защитники животных. (...) «Следствие уже возбуждено», — говорит Ядвига Рокицкая-Остатко из районной прокуратуры в Лемборке”. (Эва Седлецкая, «Газета wyborча», 18 сент.)

- “Каждый одиннадцатый заемщик тратит на оплату по кредиту больше половины своих доходов. Согласно опросу ГфК «Полония», столько же респондентов признались, что в этом году они часто погашали свои финансовые обязательства с опозданием (...) Год назад сумма кредитов, погашаемых частными лицами нерегулярно, составляла 8,8 млрд. злотых. В конце августа 2009 г. она выросла до 15,2 миллиарда”. («Жечпосполита», 30 сент.)

- “Уровень безработицы не изменился и уже второй месяц подряд составляет 10,8%. В центрах занятости зарегистрировалось 1,69 млн. человек — на 1,7% (т.е. на 285 тыс. человек) больше, чем год назад. Как показали Исследования экономической активности населения (BAEL), в начале июля не работали 1,35 млн. человек — приблизительно на 300 тыс. меньше, чем зарегистрировано в центрах занятости. Эта разница свидетельствует о росте теневой экономики». («Жечпосполита», 24 сент.)

- “Погибли 12 шахтеров (...) Все указывает на то, что 12 шахтеров, погибших вчера от взрыва метана, стали жертвами корыстолюбия и крайней безответственности начальства, которое закрывало глаза на показания концентрации под землей этого газа. В снятом одним из шахтеров фильме, показанном вчера по каналу ТВН-24, видно, что красные цифры на табло отображают величины, в четыре-пять раз превышающие допустимые (...) Однако шахтеры (...) предпочитали молчать, чем потерять работу. (...) Как правило, инспекторы Высшего горного управления — добрые знакомые сотрудников шахтного надзора. Все знают, что часто инженеры заставляют шахтеров фальсифицировать показания или игнорировать их. Дело в том, что каждый раз, когда допустимая концентрация метана превышает, нужно прерывать работу и эвакуировать людей. А это для шахты

убыток”. (Агнешка Видера, Анна Войцеховская, «Польска», 19–20 сент.)

• “Барбара Скарга (1919–2009) (...) происходила из литовской протестантской шляхты (...) [В конце войны] была арестована НКВД и приговорена к 10 годам трудовых лагерей. Полностью отбыла срок в Вой-Воже, Ухте и Балхаше (...) В 1988 г. получила профессорскую степень (...) Скарга говорила, что не винит судьбу, хотя и сожалеет, что за время пребывания в СССР забыла латынь и греческий. «В 1995 г. она была награждена орденом Белого Орла (...). В мае 2008 г. была торжественно обновлена ее докторская степень в Варшавском университете. Барбара Скарга — самый выдающийся философ современной Польши”, — сказал в похвальном слове проф. Владислав Стружеский. («Газета wyborcza», 19–20 сент.)

• “В пятницу вечером на 88–м году жизни умер Марек Эдельман, врач-кардиолог, один из руководителей Варшавского восстания 1942 г., кавалер ордена Белого орла и командор французского Почетного легиона (...) «20.05. Это была последняя минута жизни Марека Эдельмана и последняя минута целого периода истории польского и еврейского народов», — сказал Шевах Вейс, бывший посол Израиля в Польше (...) «В жизни важнее всего сама жизнь, — повторял Эдельман. — А если она есть, тогда важнее всего свобода. А потом жизнь отдается за свободу, и уже непонятно, что важнее»”. («Впрост», 11 окт.)

• “Число польских солдат, погибших в Афганистане, достигло 12 человек. Во вторник, несмотря на длительное лечение, умер раненый в мае ефрейтор Артур Пыц”. («Дзенник», 10 сент.)

• “Вчера в погоне за талибами погиб ефрейтор Петр Мартиняк из 6–й ударной десантной бригады в Кракове. Это тринадцатый польский солдат, павший в Афганистане”. («Газета wyborcza», 11 сент.)

• “Вчера от взрыва бомбы-ловушки погибли 22–летний ефрейтор Радослав Шишкевич и 23–летний ефрейтор Шимон Грачик (...) Это четырнадцатая и пятнадцатая польская жертва в Афганистане”. («Газета wyborcza», 10–11 окт.)

• “США отказались от строительства элементов ПРО в Польше и Чехии. Сам противоракетный щит будет создан, но без баз в Центральной Европе”. («Тыгодник powszechny», 27 сент.)

• “Редзиково радуется (...) «Мы обойдемся без американцев. Милости просим к нам, но в качестве туристов», — говорит

войт гмины, в которой должна была строиться система ПРО. Местные жители празднуют провал противоракетного проекта. «Я уже заказал себе по этому случаю ящик пива», — смеется житель Редзикова Тадеуш Крайник». (Петр Кобылярчик, «Жечпосполита», 18 сент.)

• Согласно опросу ГфК «Полония», 48% поляков довольны, что щита не будет. 31% считает это решение плохим. 58% респондентов придерживаются мнения, что отсутствие американского щита не повлияет на безопасность Польши. («Жечпосполита», 19–20 сент.)

• Андрей Пионтковский, комментатор радио «Свобода» и Би-Би-Си: «Москве было важно показать, кто в Восточной Европе хозяин. И она доказала, что (...) по-прежнему контролирует ситуацию (...) Власти Польши и Чехии были унижены. Они затратили множество энергии на то, чтобы убедить свои народы в пользе американского проекта. А американцы, ради торговли с Москвой, выбросили этот проект на свалку, показав, что Польша и Чехия — не более чем пешки в большой геополитической игре с Россией». («Ньюсуик-Польша», 11 окт.)

• «Россия не разместит ракеты «Искандер» в Калининградской области, у границы с Польшей, — заявил президент Дмитрий Медведев после окончания в субботу саммита «Группы двадцати» в Питсбурге». («Газета выборча», 28 сент.)

• Генерал-майор проф. Владимир Дворкин: «Вы — член НАТО. Россия не намерена с вами воевать (...) Да и у вас нет повода воевать с нами. Размещение у вас ракет «Пэтриот» с военной точки зрения не имеет смысла (...) От кого вы хотите защищаться? От России? Это абсурд (...) Обе стороны давно отдают себе отчет в том, что ни мы не нападем на НАТО, ни НАТО не нападет на нас». («Газета выборча», 26–27 сент.)

• «Масштаб маневров «Запад-2009» превзошел все предыдущие. У самой границы с Польшей собралось 12,5 тыс. солдат (в том числе 6 тыс. российских), 228 танков, 470 бронетранспортеров, 63 бронемшины и 234 самоходные пушки (...) Цель учений — отразить удар со стороны Запада, в т.ч. Польши». («Польска», 25 сент.)

• «Резолюция Сейма о советской агрессии 17 сентября 1939 г. была принята единогласно. Документ содержит слова о том, что, подписав пакт Риббентропа—Молотова, Германия и СССР совершили четвертый раздел Польши. Расстрел польских офицеров в Катыни назван военным преступлением с

«признаками геноцида». Относительно слова «геноцид» Пис и ГП спорили несколько дней». («Жечпосполита», 24 сент.)

- “Бывший маршал Сейма Людвик Дорн и депутаты от группировки «Польша XXI» требуют отставки вице-маршала Сейма Стефана Несёловского за его утверждение, что расстрел в Катыни не был геноцидом”. («Впрост», 20 сент.)

- Анджей Скомпский, председатель Федерации катынских семей: “Геноцидом была Катастрофа или резня в Руанде, а Катынь — это военное преступление. Цепляться к словам и делать из этого политический скандал — отвратительно и возмутительно (...) В очередной раз смерть наших отцов используется в самых нечистоплотных политических целях”. («Газета выборча», 14 сент.)

- Томаш Яструн: “А в нашем цирке — новая гражданская война. На этот раз о Катыни. Геноцид это или просто военное преступление? Новый тест на польскость и патриотизм (...) Польская шляхта снова сцепилась. А мир идет дальше. У мира другие проблемы”. («Ньюсуик-Польша», 20 сент.)

- “Определение геноцида дал в 1944 г. польский юрист Рафал Лемкин. Два года спустя его приняла Организация Объединенных Наций. С того времени под геноцидом понимаются «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую». Однако определение ООН отличается от оригинала Лемкина. По предложению СССР оно было отредактировано так, чтобы геноцидом нельзя было считать истребление общественных групп (...) Поэтому многие юристы уже много лет добиваются добавления в определение политических, экономических, идеологических и общественных критериев”. (Мариуш Станишевский, «Польска», 12 сент.)

- “Комитет по международным делам Государственной Думы в письме к Комиссии по иностранным делам польского Сейма выразил «разочарование, вызванное стремлением поставить на одну доску действия нацистской Германии (...) и Советского Союза”. («Газета выборча», 26–27 сент.)

- “Параллельность действий обоих оккупантов (...) видна в судьбах польских семей, пострадавших одновременно от нацистских и советских преступлений. 21 апреля в Катыни расстреляли известную летчицу Янину Левандовскую. Два месяца спустя в Пальмирах под Варшавой была расстреляна ее

младшая сестра Агнешка Довбур-Мусницкая, арестованная за подпольную деятельность. Болеслав Внук был деятелем крестьянской партии ПСЛ, участником борьбы за независимость Польши, депутатом Сейма Второй Речи Посполитой последнего довоенного созыва. Он погиб, расстрелянный немцами в Люблинском замке в июне 1940 года. Несколько раньше советские солдаты убили его брата Якуба, сотрудника Противоголового института. Одним из профессоров, арестованных в ноябре 1939 г. в Кракове, был историк литературы Игнаций Хшановский. Он погиб 20 января 1940 г. в концлагере Заксенхаузен. Три месяца спустя НКВД расстрелял в Катыни его сына Богдана Хшановского”. (Лукаш Каминский, «Тыгодник повшехный», 27 сент.)

- “Российский МИД заявил вчера, что резолюция Сейма о советской агрессии 17 сентября 1939 г. «наносит серьезный урон усилиям по развитию нормальных добрососедских отношений между нашими странами» (...) По мнению маршала Сейма Бронислава Коморовского, российские политики напрасно участвуют в защите сталинизма. «Это все равно, как если бы Германия захотела защищать свое нацистское прошлое», — сказал маршал Сейма”. («Жечпосполита», 25 сент.)

- Проф. Наталья Лебедева: “Введя на рассвете 17 сентября без объявления войны части Красной Армии на территорию Польши, сталинское руководство тем самым нарушило все советско-польские договоры и ряд международных актов, запрещавших агрессию (...) 18 сентября было подписано советско-германское коммюнике (...) в котором прямо говорилось об общей задаче СССР и Германии в войне против Польши (...) В операции (...) были задействованы 35 дивизий, 10 танковых бригад и 7 артиллерийских полков. В них насчитывалось более 466 тыс. человек, около 4 тысяч танков (...) В подписанном 28 сентября Договоре о дружбе и границе устанавливалась окончательная граница обоюдных государственных интересов на территории «бывшего польского государства» (...) В целом же за 12 дней боевых действий на территории Польши Красная Армия заняла территорию общей площадью 190 тыс. кв. км (50,4% территории Польши) с населением около 13 млн. человек. Во время польской кампании погибли с польской стороны 3500 военных и гражданских лиц, около 20 тыс. были ранены или пропали без вести. Советская сторона официально объявила о 737 убитых и 1862 раненых (...) Главными методами господства на присоединенных к СССР территориях стали террор и массовые депортации”. («Газета wyborча», 17 сент.)

• Глеб Павловский, директор Фонда эффективной политики в Москве: “Сговор, в результате которого вы потеряли «кресы», — это пятно на репутации моей родины. Честь России не стала еще более запятнанной только благодаря тому, что в 1940 г. Адольф Гитлер отклонил предложение Сталина о более тесном сотрудничестве (...) Сталин признавал, что Россия приняла участие в четырех разделах Польши. Четвертый имел место как раз 17 сентября 1939 года (...) Как уроженец советской Украины (...) я не могу не отметить, что моя родина выиграла от вторжения Красной Армии на территорию Польши 17 сентября. Благодаря этому территория Украины обрела свои нынешние очертания (...) Поэтому я не могу и не смогу разделить вашу точку зрения на занятие «кресов» Красной Армией”. («Дзенник — Газета правна», 17 сент.)

• “«Договор между Сталиным и Гитлером и последовавшие за этим договором события — вторжение в Польшу сначала Вермахта, а затем и Красной Армии — относятся к числу самых позорных страниц европейской истории». Российское общество «Мемориал» опубликовало вчера заявление к 70-летию агрессии против Польши”. («Газета wyborcza», 17 сент.)

• “Конференция, посвященная 70-й годовщине начала II Мировой войны и организованная «Конгрессом поляков в России», была нетипичной для России. Присутствовавшие на ней польские и российские историки, а также представители общества «Мемориал» вели честную дискуссию о пакте Риббентропа — Молотова, 17-м сентября и репрессиях против мирного населения на оккупированных советскими войсками территориях (...) Однако шансы на то, что представленные на конференции взгляды проникнут в общественное сознание, равны нулю. «Мы пытались пригласить российские СМИ, но не получилось», — говорит Галина Суботович-Романова, председатель «Конгресса поляков в России». (Юстина Прус, «Жечпосполита», 18 сент.)

• Юрий Фельштинский, российский историк: “В Кремле есть большая группа людей, считающих, что оккупация Польши была хорошим политическим шагом. В российском правительстве и в окружении президента есть также группа людей, утверждающих, что когда-нибудь на эти территории можно будет снова предъявить права (...) Политические верхи России разделяют тогдашнее мнение Сталина, что нападение на Польшу было выгодным решением. И это должно подготавливать российское общественное мнение к подобным действиям в будущем (...) Российские войска напали на Грузию, чтобы сломить уверенность Запада в том, что Россия не станет

вмешиваться в дела суверенных государств (...) Это очень опасный прецедент, особенно для Польши (...) Российские власти объясняли, что грузинское правительство не может обеспечить безопасность российских граждан. Но ведь (...) 17 сентября 1939 г. СССР тоже утверждал, что польское государство не может обеспечить безопасности граждан белорусской и украинской национальностей. Путин воспользовался тем же обоснованием. А Гитлер, оккупируя Чехословакию, заявлял, что хочет защитить тамошнее немецкое меньшинство”. («Польска», 16 сент.)

• “Радио «Эхо Москвы» провело телефонный опрос, посвященный резолюции польского Сейма. 71% опрошенных заявили, что она не оскорбляет их патриотических чувств”. («Газета wyborcza», 24 сент.)

• Маршал Сената Богдан Борусевич: «Конфликт между нашими странами подогревается крайними силами. В июле россияне приняли резолюцию о II Мировой войне. Значит, мы должны были принять свою. Теперь резолюцию приняли мы, а они придумывают ответ”. («Газета wyborcza», 30 апр.)

• “Книга «Кризис 1939 года...» (...) вышла в свет как побочный продукт деятельности Польско-российской группы по трудным вопросам. Спорные исторические вопросы представлены в ней вне контекста текущей политики (...) Книгу удалось создать за полгода, что для научного труда — срок рекордный. Книга состоит из шести частей — от Мюнхенского соглашения и пакта Риббентропа — Молотова до вооруженного конфликта 1939 года. Каждая часть содержит статьи польских и российских ученых. Создатели книги подчеркивают, что их целью было не согласовывать позиции и оценки, а передать весь диапазон мнений”. («Газета wyborcza», 28 сент.)

• “Те, кто стремится к польско-российскому диалогу, должны, к сожалению, вести собственные поиски, поскольку признанных посредников между двумя странами немного. Советское поколение 60-х, которое знакомилось с Западом по пээнэровским газетам, стремительно уходит. Да и у нас одного Ежи Помяновского, редактора «Новой Польши», недостаточно. И, тем не менее, польско-российскую политику примирения нет нужды изобретать заново. Есть проверенные образцы, нужна лишь воля политического класса, государственной администрации и активность простых людей. Так мало и так много”. (Адам Кшеминский, «Политика», 19 сент.)

• Павел Хюлле: “Помяновский пишет, что «среди жертв был поручик Мечислав Бирнбаум. На его теле в Катыни (путевая

ведомость 040/1, номер 16) были найдены кресты Virtuti Militari и «За доблесть», которыми он был награжден за участие в кампании 1920 года. Это он, первый польский переводчик рассказов Бабеля, поведал о нем и о его городе своему племяннику, пишущему эти слова» (...) Дядя Помяновского воевал с армией, в которой Бабель был военным корреспондентом (...) Издательство «Аустерия» опубликовало недавно две книги. Первая — это «Одесские рассказы» Бабеля (...) вторая (...) «Содом и Одесса. Вариации, домыслы и песни на тему 'Одесских рассказов' Исаака Бабеля» Ежи Помяновского (...) Может, какой-нибудь театр возьмется за такой проект: в один вечер мы смотрим «Закат» Бабеля. Во второй — на той же сцене «Содом и Одессу» Помяновского. Так можно было бы воздать почести не только Бабелю, но и его неутомимому переводчику, который планомерно предпринимал множество усилий, чтобы приблизить в Польше ту эпоху, когда о смерти Бабеля и смерти поручика Бирнбаума в Катыни можно, наконец, говорить открыто”. («Газета wyborcza», 29 сент.)

• “Большевистские солдаты пришли под Варшаву в английских мундирах и ботинках со стельками из березовой коры. Фрагменты их обмундирования, извлеченные из могилы в Оссове, впервые демонстрировались публично. Выставка была устроена в экспозиционном павильоне в Оссове (...) В витринах выложены остатки ботинок (...) пулеметные ленты, фляжки и множество мелких предметов, найденных среди останков похороненных на польском лугу красноармейцев. Есть там и значок с тогдашней эмблемой большевиков, пятиконечной звездой с серпом и молотом посередине, но есть и нателный крестик (...) Археологи нашли в земле кости 22 человек (...) Останки красноармейцев похоронили в том же месте. На могиле насыпан холм и водружен православный крест”. (Томаш Ужиковский, «Газета wyborcza», 12-13 сент.)

• “Правда о судьбах советских военнопленных 1920 г. неудобна как для россиян, так и для поляков. О массовом расстреле не может быть и речи. Но из документов того времени вырисовывается леденящий кровь образ варварства в лагерях Второй Речи Посполитой (...) За оградой польских лагерей советские пленные мерли как мухи (...) Если заключенные были голыми, грязными, голодали, у них не было ни нар, ни одеял, а инфекционных больных, которые ходили под себя, не отделяли от здоровых, то результатом такого отношения к людям должна была стать ужасающая смертность. На это часто обращают внимание российские авторы. Они спрашивают: не было ли это сознательным истреблением — может, не на уровне правительства, но на уровне руководства отдельных

лагерей? И с этим тоже трудно спорить”. (Игорь Т. Мечик, «Ньюсуик-Польша», 4 ноября)

• Михал Комар: “Если поляки и россияне будут говорить исключительно о спорных вопросах, многого мы не добьемся. Может быть, стоит говорить о том, что Польшу и Россию объединяет? (...) Нужно говорить о репрессиях, которые ударили по тысячам поляков, идейных коммунистов, в СССР. Давайте говорить о том, что в русских университетах были великие польские профессора, которые формировали русскую интеллигенцию (...) Поляки в Баку, в Петербурге. Это были гигантские колонии интеллигентов, промышленников. Людей, которые вели там интенсивную деятельность. Или просто жили. Каждый идеолог, политик, который хочет свести сущность отношений к катынскому делу, совершает ошибку. Если историческая политика не служит будущему, то она недостойна поддержки”. («Дзенник — Газета правна», 30 сент.)

• “Петр Александрович Смирнов, выпускник Петербургского университета 1915 года, эвакуировался из Москвы в Варшаву. Там, кроме русского меньшинства, которое имело своих представителей в Сейме и Сенате (сначала Серебрянникова, затем Касперовича, Короля, братьев Бориса и Арсения Пимоновых), становилось всё больше белых эмигрантов. К периодическим изданиям русского меньшинства — «Наше время», «Новая искра» и «Русское слово» — прибавилось эмигрантское «За свободу!». Газету основал Савинков, а главным редактором был Философов. В ней публиковались Мережковский, Гиппиус, Арцыбашев, Бальмонт, Северянин, Кондратьев, Амфитеатров. Действовало также несколько русских обществ, несколько русских школ. В такую гимназию пошел Георгий Смирнов, сын Петра Александровича, а также его старшие братья — Александр и Константин. Позже Георгий участвовал в работе Русского благотворительного общества. Сыновьями Георгия были Александр, Юрий и самый младший, Андрей (1938 г.р.). В 1949 г. Георгий (Ежи) Смирнов был арестован польской госбезопасностью. Его освободили в 1952 году. Сегодня его сын Анджей, выпускник варшавского Политехнического института, кандидат технических наук, преподаватель с тридцатилетним стажем и деятель «Солидарности», — депутат Сейма четвертого созыва”. («Пшеглэнд православный», август)

• “В кутерьме польско-российских споров об истории и ПРО затерялась информация о событии совершенно уникальном — совместном Форуме органов самоуправления, который прошел на прошлой неделе в Москве, в здании Совета Федерации (...)

Вся Польша встретила там с половиной России: маршал Сената Богдан Борусевич созвал представителей пятнадцати (т.е. почти всех) воеводств, а Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, — представителей 47 из 83 российских регионов. Говорили о системе самоуправления, об общих интересах, познакомились, обменялись адресами (...) Таких польско-российских встреч не было уже очень давно (...) В мае 2010 г. представители регионов России, приглашенные маршалом Борусевичем, приедут к нам на следующий польско-российский форум”. (Вацлав Радзивиллович, «Газета wyborcza», 25 сент.)

- “Прекрасный жест православных (...) Вчера вечером в Ченстохове православные монахи получили копию образа Черной Мадонны, которую они поместят в специально построенную часовню. В их монастыре, отобранном большевиками, НКВД держал в заключении более 8 тысяч польских офицеров, которые в дальнейшем были расстреляны в Твери и похоронены в Медном. Теперь монахи будут молиться за эти жертвы перед иконой Черной Мадонны”. («Жечпосполита», 25 сент.)

- “В Ерцеве на севере России открыт памятник Густаву Герлингу-Грудзинскому, польскому писателю, солдату и заключенному сталинского ГУЛага. Камень с мемориальной доской, посвященной поляку, поставлен в центре города, прямо возле памятника жертвам местного лагеря”. («Впрост», 27 сент.)

- “Мы ведем с Россией столь ожесточенные исторические споры, что не умеем (или не хотим?) видеть, что происходит в этой стране. (...) Президент Дмитрий Медведев представил довольно последовательную картину новой России: современной, демократичной, дружелюбной по отношению к соседям, гордящейся своей историей, но в то же время умеющей посмотреть на нее критически (...) Стоит прислушаться (...) к чему-то большему, чем обеление Сталина за пакт Риббентропа—Молотова”. (Мартин Войцеховский, «Газета wyborcza», 26-27 сент.)

- “Канцлер Коль прекрасно понимал, что интегральная целостность и стабильность Польши — важное условие безопасности Германии. Это была одна из причин поддержки Германией нашего стремления в НАТО и ЕС. По той же причине мы заинтересованы сегодня в стабильности, интегральной целостности и независимости не только Украины, но и Белоруссии, и Грузии. Защита интересов этих народов — часть

польских государственных интересов и проявление простой солидарности”. (Александр Смоляр, «Польска», 26–27 сент.)

• Проф. Збигнев Левицкий, Варшавский университет: “Можно лишь удивляться людям, которые основывают свои политические концепции на вере в благие намерения России, — ведь они берут на себя огромную ответственность. Никогда еще в истории Польши такие расчеты не оправдывались, а имена их сторонников отнюдь не в почете”. («Дзенник — Газета правна», 21 сент.)

• Ежи Помяновский: “Перечислю конкретные и эффективные действия, касающиеся Украины (и всей восточной политики), предпринятые министром иностранных дел Радославом Сикорским и его министерством: концепция Восточного партнерства, упрощенные визовые процедуры в приграничной зоне, создание и работа Группы по трудным вопросам. Еще раньше Сикорский потребовал от ЕС признания нерушимости границ Украины (...) Однако он признал, что правительство Туска не воспользовалось шансом, чтобы убедить украинцев, что они могут рассчитывать на Польшу”. («Польска», 15 сент.)

• “Во Львове на улице Ивана Франко, 110 и Смильских, 5 люди становятся в очередь с утра и стоят до вечера (...) Летом польское консульство выдавало рекордное количество виз в день — 2–2,5 тысячи. В очереди стояло иногда до 3 тыс. человек. Сейчас выдается 1,2 тыс. виз в день. Львовское консульство — самое большое польское дипломатическое представительство в мире: в визовом отделе работают 65 сотрудников. Как подчеркивают дипломаты, все работают, не покладая рук”. (Пётр Кощинский, Татьяна Серветник, «Жечпосполита», 1 окт.)

• “Этот год может стать рекордным по числу беженцев, ищущих пристанища в Польше (...) С января по август ходатайства о предоставлении статуса беженца подали более 7 тыс. человек (...) Больше всего среди них граждан Грузии, которые подали почти 3,2 тыс. ходатайств — даже больше, чем чеченцы. (...) Хотя на содержание беженцев Управление по делам иностранцев подготовило почти 60 млн. злотых, денег может не хватить. На одном из ближайших заседаний правительство должно выделить еще 6 миллионов”. («Политика», 19 сент.)

• Проф. Иренеуш Кшеминский: “Отношение Польши как государства и поляков как граждан к беженцам (...) безобразно. (...) Отправляясь в эмиграцию, мы охотно пользовались чужим гостеприимством (...) Но у нас самих совсем нет ни чувства благодарности, ни хорошего отношения к эмигрантам (...)”

Иностранцы чувствуют эту нашу неприязнь. Все социологические исследования показывают, что они чувствуют себя у нас плохо (...) Для тех, кто сюда приезжает, мы все еще ассоциируемся с «Солидарностью» и борьбой за свободу. То, с чем они здесь сталкиваются, очень быстро меняет их отношение к Польше и полякам. Мы уничтожаем положительный стереотип, а потом удивляемся, что другие нас не любят (...) Я помню демонстрацию в защиту чеченцев, когда там шла война. Но одно дело — поддержка на расстоянии, а другое — живой чеченец под боком”. («Польска», 2 окт.)

• Богдан Рымановский, публицист телеканала ТВН 24: “Как обошлись с Олегом Закировым, честным и благородным человеком? В 1989 г. этот майор КГБ обнаруживает в Смоленске дела польских военнопленных, арестованных НКВД. По собственной инициативе он начинает следствие по делу о катынском расстреле (...) Уволенный из КГБ как психически больной, он бежит в Польшу (...) Получает польское гражданство и орден от президента. Однако никому не пришло в голову оплатить ему курс польского языка, обеспечить работу и помочь сориентироваться в новой действительности. Ему дали пенсию в 1500 злотых, хотя ему всего 52 года и он не инвалид. Вместо приличной жизни он вынужден влачить жалкое существование. И так продолжается уже 11 лет (...) Когда я приглашаю его в студию, он ставит одно условие: никаких вопросов о его положении. У него есть чувство собственного достоинства (...) Это скандал, который не волнует ни одного из политиков. Они предпочитают вести исторические споры и состязаться в патриотизме. Поэтому, господин президент, господин премьер-министр, господин директор Института национальной памяти, я спрашиваю вас просто так, по-человечески...” («Польска», 17 сент.)

• “Сейм единогласно принял резолюцию по волынской резне, совершившейся 66 лет назад. Согласно резолюции, преступления, совершенные украинскими националистами, имеют признаки геноцида. Однако депутаты не хотят принять резолюцию, предложенную депутатом Эугениушем Чиквиным еще в 2008 г. и осуждающую польскую операцию по снесению церквей в Хелмском регионе в 1938 году. Разрушение церквей переполнило чашу терпения украинцев, что и привело к т.н. волынской резне”. («Пшеглэнд православный», август)

• “«Советская Белоруссия», печатный орган администрации президента Александра Лукашенко, написала, что просить прощения у своих соседей должна Польша. Далее газета перечисляет польские грехи: полонизация белорусов и

украинцев во Второй Речи Посполитой, карательные походы против гражданского населения и тысячи заключенных концлагеря в Березе-Картузской”. («Газета wyborcza», 3-4 окт.)

- “Вчера президенты Польши и Украины совместно установили на варшавском православном кладбище крест, увековечивающий память жертв Голодомора на Украине”. («Польска», 9 сент.)

- “Армия вот уже десять лет как сокращается, а гарнизонных приходов не становится меньше (...) В Польше насчитывается 93 гарнизонных прихода, находящихся на содержании государства. В основном настоятели — священники в звании подполковника. Зарабатывают они от 5 до 7 тыс. злотых в месяц. Министерство национальной обороны платит также за содержание храмов (...) В бюджете этого года на содержание католического полевого епископата выделено почти 22 млн. злотых, на лютеранский и православный епископаты — 4,5 миллиона. Всего 26,5 млн. злотых (...) Приходы, где не осталось военных, можно было бы передать мирному населению. Но никто не отваживается это сделать. Официально никто ничего не скажет”. (Мартин Гурка, «Газета wyborcza», 28 сент.)

- “Имущественную комиссию придумали в конце эпохи ПНР, чтобы возместить ущерб, который в 50 х годах прошлого века нанесли Церкви коммунисты. Данные о том, сколько имущества она тогда потеряла, так никогда и не были обнародованы (...) Решения принимают три экспертные группы по четыре человека, члены которых зарабатывали около 11 тыс. злотых в месяц (недавно ставки снизили). В каждой группе два человека представляют правительство, а еще два — Церковь. Решения групп окончательны, а принимаются они на закрытых заседаниях без участия заинтересованных сторон (...) Для членов комиссии, назначенных министром внутренних дел, теоретически важнее всего должны быть интересы государства. Но (...) бывает всякое: хотя они и назначаются министром, тем не менее ему не подчиняются и решения принимают независимо. «Мы не предвидели, что выразителями интересов Церкви со временем станут обе стороны», — говорит Александр Меркер, один из авторов идеи создания комиссии”. («Политика», 26 сент.)

- “Президент (мэр) Кракова хочет, чтобы Конституционный суд проверил легальность решений Имущественной комиссии, занимающейся возвращением имущества Церкви. Ведь решения эти нельзя оспорить. Вчера не хватило четырех голосов депутатов Краковского городского совета, чтобы предложение президента прошло”. («Жечпосполита», 8 окт.)

- Проф. Бронислав Лаговский: “Качинские и ПиС привлекают другой тип людей, нежели Туск и ГП. Первые руководствуются этосом, что в условиях мирного времени выражается в поисках дел и людей, на которых можно разрядить агрессию.

«Платформа», наоборот, руководствуется принципом: живи и дай жить другим. Помимо этого никаких важных различий не заметно, переход из одной партии в другую не вызывает проблем, личные передвижения вызваны карьерной, а не идейной мотивацией. Обе партии исповедуют одну и ту же национально-католическо-мартирологическую традицию”. («Ньюсуик-Польша», 11 окт.)

- Согласно опросу ЦИОМа от 1-6 октября, ГП поддерживает 41% поляков, ПиС — 17%, СДЛС — 8%, крестьянскую партию ПСЛ — 6%. Готовность участвовать в выборах высказали 48% респондентов. 20% затруднились с ответом. («Газета wyborcza», 9 окт.)

- “Центральное антикоррупционное бюро уведомило прокуратуру о нарушениях в процессе принятия закона о лотерейных играх, а «Жечпосполита» опубликовала аудиозаписи разговоров предпринимателя, занимающегося играми, с председателем парламентской фракции «Гражданской платформы» Збигневом Хлебовским. Из записей следует, что Хлебовский вместе с министром спорта и казначеем ГП Мирославом Джевецким пытался воспрепятствовать невыгодным для предпринимателя изменениям в законе (...) Хлебовский лишился должности, в отставку подал и Джевецкий”. («Тыгодник повшехный», 11 окт.)

- “На волне «игрового скандала» с местами в правительстве прощаются все министры, вызывающие в ее контексте дурные ассоциации: министр юстиции Анджей Чума, замминистра экономики Анджей Шейнфельд, (...) вице-премьер и министр внутренних дел и администрации Гжегож Схетина (...) С министерскими должностями в канцелярии премьер-министра прощаются директор политической канцелярии Туска Славомир Новак, пресс-секретарь правительства Павел Грась и министр Рафал Групинский”. («Польша», 8 окт.)

- Согласно опросу ГфК «Полония» от 7 октября, «игровой скандал» уменьшил популярность премьер-министра Дональда Туска. Какова была бы расстановка сил во втором туре президентских выборов, если бы они прошли в ближайшее воскресенье? Влодзимеж Цимошевич — 38%, Дональд Туск — 37%; или Влодзимеж Цимошевич — 53%, Лех Качинский — 28%. («Жечпосполита», 9 окт.)

- Френсис Фукуяма: “В демократической системе, когда президент или премьер-министр не подходят избирателям, те просто избавляются от них. Уже одного этого достаточно, чтобы констатировать стопроцентную правильность реакции польской демократии”. («Впрост», 11 окт.)

МАРЕК ЭДЕЛЬМАН

Среди многочисленных откликов, появившихся после смерти Марека Эдельмана, мы выбрали этот:

Мы оплакиваем смерть Марека не как руководителя восстания в гетто и не как символа еврейского сопротивления — хотя он был и тем, и другим, — но как человека, который лично спас и вывел из гетто кое-кого из нас, когда мы были еще детьми. Марек подыскал для нас укрытия и тайные убежища, он давал нам надежду. В самое чудовищное из всех времен он никогда не забывал о нас. Проявлял к нам тепло и доброту во времена террора и сплошного ужаса. После войны Марек заботился о детях погибших соратников по оружию и делал всё, чтобы память о них не угасла. Те из нас, кто познакомился с Мареком в США, черпали вдохновение в его преданности живым и павшим, а также правдивой истории Катастрофы.

Марек до конца остался живым олицетворением идеалов и ценностей Бунда, еврейской социалистической рабочей партии.

Смерть Марека — это для нас потеря отца и самого лучшего друга детства, потеря человека, который даже слишком хорошо понимал ту трагическую судьбу, которая встретила польских евреев и жизнь горстки тех, кто спасся.

Мы будем помнить его с глубочайшей любовью.

Жан Альтер, Нелли Блит и Кароль Дункель,

Влодка Блит-Робертсон, Ирена Дункель,

Франсина Дункель, Генри Эрлих, Марк Эрлих,

Мириам Эрлих, Нелли Фурман, Габрысь Фришдорф,

Этти и Абе Голдвассер, Джек Джекобс, Вивиан Каган,

Ирена Клепфиш, Рузька «Лёдзя» Клепфиш, Салик Крыштал,

Мира Лейзорец, Влодка Пелтель-Мид, Стивен и Рита Мид,

Сивка Мендельсунд, Майус Новогрудский, Аврам Патт,

Ребекка Патт, Карен Шацкин, Майк Шацкин, Нэнси Шацкин,

*Бронек Шпигель, Юлиус Шпигель, Крыся Злотовская-Старкер,
Лютек Сведош, Феля и Влодек Шер, Аня Варман, Ежи Варман,
Алина и Шладек Зельманович, Мотл Зельманович*

А «ПЛОТ» ПЛЫВЕТ...

Объединение «Плот» возникло в результате осуществления программы, задуманной для помощи молодежи, оказавшейся не у дел, в 1993–1995 гг. в Ольштынском региональном центре культуры (РЦК). Эту программу придумали и взялись проводить в жизнь ее инициаторы — участники Группы культурных инициатив при РЦК Виолетта Прусская и Рышард Михальский.

Основная программная деятельность объединения сейчас осуществляется преимущественно в Элкском и Браневском поветах^[1]. Если Элкский повет расположен в привлекательном для туристов районе Мазурских озер, то Браневский из-за отсутствия озер лишен возможности развивать туризм, считающийся определяющим для развития воеводства. В обоих случаях эти территории относятся к типичным «останкам госхозов», где наблюдается синдром беспомощности и апатии, где показатель безработицы достиг 35,4%^[2]. Молодежь, живущая в этих местах, находится в весьма непростых условиях. Она балансирует в своих ощущениях на грани безнадежности и саморазрушения, оказавшись, с одной стороны, на обочине общественной жизни, в сельском гетто, функционирующем вне главного направления культурной жизни, образования, профессиональной компетентности и общественной коммуникации, а с другой — располагая шансами собственной активной творческой жизни. Наибольшую опасность для этих групп представляет отсутствие диалога с окружающим их миром культуры взрослых. Объединение «Плот» видит свое назначение в формировании пространства, которое могло бы объединять вытесняемые на обочину современной жизни своеобразные «культурные меньшинства». С одной стороны, это люди, принадлежащие к исчезающей традиционной культуре (как курпёвские певцы, скрипачи из Опочинского края), или переселенцы из украинских сел, а с другой — молодые «аборигены современности», авторы и инициаторы самых разных течений, стихийно возникающих в молодежной культуре. Объединение «Плот» использует специфические для этого региона условия, то есть многокультурность населения Вармии, которое никогда не использовало собственных традиций и культуры и не могло, таким образом, продемонстрировать свою инаковость, которая служит

средством связи с миром взрослых и «миром официальных учреждений».

На конференции, организованной культурным объединением «Боруссия» в июне 2009 г., Рышард Михальский говорил:

„Еще в 70-е годы культурная антропология ясно показала, что к важнейшим новым явлениям в сфере культуры относится то, что взрослые люди утратили свою монополию на знание и успех в жизни. У молодежи свои знания, свое представление об успешности, они стремятся к самостоятельным поискам жизненных решений. Трагедия новой Польши заключалась в том, что та стихия, которую представляет собой молодежь, никак не была освоена. В начале 90-х, как мне представлялось, особенно искренними, подлинными и внушающими доверие были в польской культуре молодежные субкультуры. Тогда еще и время было такое, и мир был такой, в котором проявлялся естественный и неудержимый порыв к тому, чтобы этот мир исправить. В настоящее время такой пыл у молодежи, хотя и не только у молодежи, несколько угас.

Надо привыкнуть, надо окончательно понять, что взрослым больше не принадлежит монополия, а к их знаниям уже нет безусловного почтения, что годы сами по себе не дают автоматически права на авторитет и власть. Эффективные и человеческие взаимоотношения между поколениями ныне должны строиться в диалоге. В этом диалоге взрослые должны иметь что сказать своего, ибо теперь больше не может быть так, что молодежь должна лишь подчиняться. Когда я начал встречаться с молодежью из разных мест региона, где мы работаем, они рассказывали мне о том, что им уже удалось сделать, не получая ни от кого помощи, без всяких «воспитателей». Это были панки. Они рассказывали, что, например, в разных городах региона в годовщину «хрустальной ночи» они зажигали лампы в тех местах, где когда-то стояли синагоги. А так как это делалось нелегально, то полиция их разгоняла. Это было свидетельством того, что всё-таки молодежь историей интересуется. Позднее мы отправили группу самых невоспитанных панков в Бретань на «Fest Noz», ежегодный фестиваль «Праздник Ночи», который проводится в традиционной форме на протяжении уже сотен лет. По возвращении ребята восторженно рассказывали, как пожилые люди и молодежь развлекаются вместе, пьют вино и танцуют всю ночь, причем делают это «на полном серьезе». Тогда я понял, что молодежи необходима встреча со взрослым, который может что-то делать «на полном серьезе», а не по долгу службы. Они буквально ошалели, носились по всей

Вармии в поисках «старика». Но не нашли. Они искали музыку, нечто, обладающее таким качеством, которое современная цивилизация не способна лишить человечности и жизни. Они утверждали, что оберек и вообще старая польская музыка для них то же, что и панк-рок: в обоих случаях музыка исполняется так, что невозможно усидеть на месте. Им удалось отыскать нескольких дедов в центральных районах Польши. Неожиданно встретились две странные стихии — нечто очень старое и нечто очень универсальное. И здесь напрашивается вывод: когда кладется начало диалогу, следует нащупывать живые места в культуре, находить такие течения и таких людей, для которых стремление к этому диалогу естественно. Так возникла школа традиций. Панки пригласили деда, знатока оберегов, в Ольштын. Он надел черный костюм, галстук (как положено быть на свадьбе), а у стен бренчали черные цепи. Дедушка начал со свадебного шлягера (взял как можно ниже): «Рыбки уснули в пруду». Они никак не отреагировали, зато атмосфера накалилась. Вторым номером стало «Бесаме мучо», при звуке которого среди этой большой группы парней уже возникло нешуточное возмущение. И тогда тот, кто всё это недоразумение затеял, попросил деда сыграть оберек. Разумеется, ни один из них не умел танцевать оберек, поэтому они под эти обереки скакали и вопили невесть что, а дед плакал. Так что диалог нередко оказывается встречей разных стихий в культуре, которые весьма часто — казалось бы, совершенно неожиданно — друг в друге нуждаются. Для меня это был урок, показавший, как можно использовать молодежь в культуре и какими могут быть их в ней функции. Урок смирения... но и жажды риска. Вся эта команда пережила некую эволюцию. Они приступили к поиску того, что находится здесь, на их территории, что им близко. А так как молодость нуждается в старости, то в конце концов со всей этой как будто повзрослевшей бандой мы начали ездить по варминским и мазурским селам — к их родителям, к их дедушкам и бабушкам. Они искали то, что происходит по-настоящему и серьезно. Немка, украинка из операции «Висла», бабушка с Виленщины и бабушка из-под Гродно. Немка, единственная довоенная жительница деревни, в которую мы попали, вышедшая замуж за польского солдата в 46-м году, говорила: «Как мне было тяжело выучить польский. Два года училась, ведь я не знала, польский — это который...».

Итак, из Ольштына, из городской культуры, мы вышли на сельские пути-дороги. Молодежь встречалась с прошлым, и хотя ребята познакомились с историями людей только из одной деревни, из одного места, тем не менее там было всё так же, как в учебнике о современном глобализованном мире.

Наша работа в деревнях показала, что люди спустя 60 лет впервые рассказывают о себе. В этих своеобразных микрокосмосах культуры жива скрывавшаяся до сих пор память о немецкой Пруссии, об украинских деревушках, о виленских, львовских репатриантах и белорусских переселенцах из многих регионов Польши. Это память о трех мирах: о мире традиционной культуры с глубокими корнями, о кошмарах войны и переселений, наконец, об утопии госхозов на «обретенных землях». Наших молодых людей интересовали не столько индивидуальные биографии или сведения об исторических событиях, сколько такие импульсы памяти, которые могли бы вдохновлять их и были бы связаны с их сегодняшним жизненным опытом. Возникли своеобразные музеи памяти с их невероятно интересным содержанием. Среди «сокровищ», обнаруженных молодежью, оказался, например, аттестат зрелости, выданный в Харбине бабушке, родившейся в Китае, в котором была проставлена по китайскому языку оценка «очень хорошо», а по польскому — «удовлетворительно». Или камень — единственный уцелевший кусочек родного дома немки, камень, который теперь лежит у нее во дворе, так как это единственная вещь, которая осталась у нее от родного дома. Есть, например, последняя страничка тетради солтыса 40-х годов, на которой сохранились русские адреса из Республики Коми, написанные кириллицей, а в верхней части страницы записаны размеры посылки, отправляемой в лагерь. Или же фрагмент особенной перчатки, которая была у ее владелицы во время высылки в Сибирь. Из нее она вырезала орла и прятала там три года. И доставала его только в дни самых важных патриотических торжеств.

Мы, взрослые, вместе с ними анализировали накопленную информацию, помогали им расшифровывать эти следы, учили их, как к ним относиться, а также как формулировать важные вопросы, необходимые для продолжения начатого диалога. Проект «Золотой песок», о котором здесь говорится, предполагает также выбор самых важных, с их точки зрения, рассказов и сведений. Как если бы они из отдельных зерен составляли собственный рассказ. Во время мастер-классов с художниками молодежь готовит «повествования» — циклы коллажей, скомпонованных в единое целое. Эти книги становятся как бы путеводителями, дополняющими живой рассказ. В конце молодые рассказчики публичные представляют свои книги — сначала там, где эти рассказы собирались, а затем на других встречах, в других местах и с другими людьми.

Данные польских социологических исследований уже в 70–80-е годы свидетельствовали о том, что интерес к памяти — весьма важный симптом надвигающихся общественных перемен. Изменения, происходившие в поисках памяти и примеров, с нею связанных, говорили о том, что вот-вот наступит 80-й год и что-то непременно произойдет. Данные польских обследований исторической памяти свидетельствовали, что происходит переход от интереса к памяти монументального типа, то есть памяти об исторических героях, об отношениях между народами, к памяти «антикварной», где происходит обращение к человеческому опыту, но не к типичному, а конкретному. Мир, познаваемый молодежью, полон событий нетипичных, неожиданных и неповторимых.

Наш опыт имеет важное значение, ибо передает иное восприятие мира и проблем современности, с его помощью можно вести творческий диалог с традицией, открывать историю и судьбы людей, живших на этих территориях. Такая деятельность позволяет положить начало процессу социальной реинтеграции и раскрытия собственной культурной самобытности, благодаря ей преодолеваются враждебность и недоверие к обществу и его институтам. Мы учим распознавать собственные, реальные потребности и находить пути их самостоятельного удовлетворения, что позволяет оказавшимся не у дел группам молодежи включаться в процесс общественной коммуникации.

Во всех проектах, организуемых объединением «Плот», ежегодно принимает участие около 12 тысяч человек.

Записала и подготовила к печати Элиза Вольская

Рассказы, собранные молодежью из объединения «Плот»

Пояс

Когда началась война, поляки хотели создать свою армию. В нее призывали всех мужчин, которые могли сражаться. Так произошло и с главным героем этого рассказа. Его призвали в польскую армию. В родном Вильно у него остались жена и дочь. И вот, когда семья уже потеряла надежду на его возвращение, в дверь дома кто-то постучал. Дверь открыла жена и увидела нищего — а в то время их было множество: они бродили по улицам, шли от дома к дому и просили, чтобы им подали хотя бы кусочек хлеба. Женщина попросила дочь принести бродяге то, что осталось от обеда. Оказалось, что он не хочет еды, лишь

стоит, онемевший, не в состоянии выдавить из себя ни слова. Спустя мгновение пораженная женщина и ее дочь узнали в грязном и заросшем мужчине своего мужа и отца. Ночью женщины заметили нечто странное: он не мог заснуть, пока не привяжет себя к кровати поясом. Когда его спросили, зачем, он рассказал им всю свою историю. Его часть была расформирована. Наступавшие с запада немецкие, а с востока — советские войска не оставили возможности воевать за Польшу. Тогда они с товарищами решили вернуться домой. Три месяца поздней осенью они продирались сквозь леса. Прятались и от немцев, и от русских. По лесам бродили стаи изголодавшихся волков, таких же страшных и опасных, как враги, которые напали на нашу страну. Единственное, что можно было сделать, чтобы в меру безопасно заснуть, — это влезть на дерево и привязаться перед сном к веткам. Это спасло им жизнь, и они смогли преодолеть многотрудный путь через леса.

Пианино

По телевидению, особенно в передачах типа ток-шоу, часто можно услышать вопрос: «Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров?» Участники передачи чаще всего отвечают, что взяли бы какие-то малозначащие вещи, которые позволили бы им занять часть свободного времени. Но как могли бы ответить люди, которые переселялись сразу же после войны на «обретенные земли»? Что же они могли сказать, когда настал момент быстро делать выбор: «Что мне с собой взять, чтобы выжить на чужбине и как-то там обустроиться?» Может быть, эта невероятная история станет ответом на этот вопрос. В небольшой усадьбе на Виленщине жила одна семья с весьма богатыми традициями учительства. До войны они прекрасно жили, у них была большая усадьба, они пользовались уважением у жителей деревни. Во время войны жизнь стала трудной, не хватало всего, а главное — еды. Привыкшая к жизни в достатке, семья познала тяготы простых и обездоленных людей. Несмотря на все неудобства, в которых они оказались, своей культуры они не утратили. На полках библиотеки занимали свое место старые книги, в тихом уголке стояло пианино, а на стенах висели картины, дипломы и фотографии. Когда война закончилась и настал момент выбора, семья решила, что из множества вещей, накопленных многими поколениями, они используют предоставленную им четверть вагона для перевозки пианино. Пианино спокойно стояло среди скота и птицы других семей, бежавших, как все. Почему выбор пал именно на пианино? Этого я сказать не могу,

можно лишь догадываться. Наверняка каждый из вас в глубине души может ответить на этот вопрос.

Образ

В этой истории рассказывается о предмете, который стал символом большой любви и памяти. Мы услышали ее из уст пожилой дамы из городка Орнета; после войны она подобно тысячам других людей оставляла свои родные места в Литве. Будучи молодой девушкой, она влюбилась в парня, служившего церковным сторожем в старом костеле в Ошмянах. Вскоре любовь привела их к алтарю, над которым в центре висел большая картина «Иисусе, уповаю на Тебя». Они приходили туда каждую субботу и проникновенно вглядывались в нее. Когда началась война, их местечко заняли русские. Прекрасный маленький костел тут же превратился в конюшню, а всю церковную утварь сбросили в подвал. Сторож приходил туда так часто, как только мог. При виде разрушающихся бесценных предметов его душу пронзали невероятная боль и отчаяние, особенно при виде этого большого образа Иисуса, покрытого толстым слоем пыли. Как-то раз он спустился в подвал с пьяным вдрызг советским командиром и, видя, как разрушается холст, спросил, нельзя ли его забрать. Тот его высмеял, но разрешил забрать образ. И тогда юноша забрал большой образ домой и повесил на стену.

Когда война закончилась и наступило время переселения, супруги знали, что они должны взять с собой это бесценное произведение, которое значило для них гораздо больше, чем всё их имущество. Судьба распорядилась так, что они поселились в городке Орнета. Проходят годы, люди рождаются и умирают, а в маленькой квартирке пожилой женщины висит этот прекрасный огромный образ. Недавно на встрече в Орнете мы узнали, что костел в Ошмянах отремонтирован. Может, этот образ когда-нибудь и вернется на свое первоначальное место?..

Башмачок

Эта история может свидетельствовать, как случайность способна совершенно изменить жизнь. Мы услышали ее из уст одной немолодой женщины из Решеля, которая, как и многие другие люди, была переселена из Литвы в Польшу. Стояла суровая зима. Женщина с маленьким ребенком ехала в битком набитом людьми поезде с репатриантами. Была ужасная теснота: они ехали в товарных вагонах, на каждую семью была выделена четверть вагона. Поезд останавливался редко, иногда следовал без остановок даже не один день. Когда поезд в конце концов остановился в окрестностях Решеля, женщина решила

вместе с малышом отправиться в город за покупками. Возвращаясь к поезду, она встретила человека, ехавшего на санях, который предложил подвезти ее к поезду. Она уже входила в вагон, когда заметила, что на одной ножке ребенка нет башмачка, а поскольку в то время обувь была весьма ценной вещью, то она поспешила вернуться и найти башмачок. К ее радости башмачок лежал на дороге. Но, когда она вернулась к месту стоянки, поезд уже ушел. Выбора у женщины не было, и она с ребенком осталась в Решеле. Там она живет и по сей день.

Землянка

Когда закончилась II Мировая война, на «обретенных землях» начали селиться люди. Молодые супруги Нисевичи решили поселиться в Закшевце — небольшом селе под Браневом. В одном из домов жил немец, который еще не успел уйти с этой территории. Он предложил им свой дом, чтобы они взамен помогли ему скрываться, пока Красная армия не покинет село. Только тогда он собирался вернуться в Германию. В тех местах было очень опасно, через село часто проезжали красноармейцы, направляясь к полигону. Вместе с хозяином Нисевичи вырыли землянку, в которой немец переждал период пребывания там советских войск. Когда всё закончилось, немец вернулся в Германию. Его потомки по сей день навещают польскую семью.

Смрадный хлеб

В первые дни после того, как в Браневе поселились новые жители, не хватало продовольствия. Но в амбаре нашлось старое, гнилое зерно, оставшееся от бежавших немцев. Из этого зерна начали выпекать хлеб. Во время выпечки во всем городе стоял ужасный смрад. Но все же этот смрад был хорошей новостью для жителей. Это означало, что из зерна выпекается хлеб, который хоть и плохо пахнет, но дает надежду выжить.

Оладушки на парафине

Начало жизни на «обретенных землях» было трудным. Не было еды, не было магазинов, лишь оставленные немцами дома, в которых можно было найти много «сокровищ». Так происходило и в Браневе. Члены одной семьи, поселившейся в этом городе, отправились в поисках продовольствия по близлежащим домам, оставленным хозяевами. В одном из домов они нашли банку с каким-то белым веществом, похожим на смалец. Принесли домой, и мать пожарила на нем оладушки. Когда все сели за стол, оказалось, что оладушки есть нельзя: вещество было не смальцем, а парафином, который используют для изготовления свечей.

Фаустпатроны

Этот рассказ мы услышали от одного из жителей Бранева. После войны Бранево выглядело как полигон или военный склад с огромным количеством брошенных танков и самого разного оружия. И это стало своего рода «игровой площадкой» для детей, а также для главного героя этого рассказа и его товарища. Им в то время было по 15–16 лет. Весной началась оттепель. На мост через реку Пасленку, протекающую через Бранево, напирали глыбы льда. Это привело к огромному затору, угрожавшему разрушить мост. Не было никакой возможности избежать катастрофы, в результате которой обе части города оказались бы отрезаны друг от друга. Но бургомистра осенила идея. Он слышал о ребятах, о которых все говорили, что у них золотые руки и что они пиротехники. Их-то он и попросил ликвидировать затор любым возможным способом. Ребята воспользовались «трофейными» фаустпатронами, найденными на поле боя. Они, правда, наделали очень много шума, но затор разбили. Некоторые жители города подумали, что вновь возвращается фронт, и перепугались, но весть о побежденном ледяном заторе их успокоила. Изобретательных ребят бургомистр попросил еще снять гитлеровскую «ворону» [так называли черного орла в гербе Третьего Райха], торчавшую на самом верху здания городской управы. Для этого они тоже воспользовались фаустпатронами, хотя цель в данном случае была гораздо меньше ледяного затора. Выпущенный ребятами снаряд промазал и взорвался в соседнем дворе. Ракета пронеслась над зданием городской управы и угодила во двор госбезопасности! Юные спецы-взрывники разбежались по домам. Но сотрудники органов их нашли и арестовали вместе с семьями. Бургомистру пришлось объясняться, и после его вмешательства все вернулись домой.

Картошка

Во время осуществления нашего проекта нам представилась возможность встретить и иного рода обличье памяти. Это память, которая не принадлежит одному человеку, складывается не только из пережитого им индивидуального опыта. Она живет коллективно во многих людях. Она может сохраняться на протяжении тысяч лет, странники переносят ее весьма далеко за пределы тех мест, где она рождалась. Ее не в состоянии убить ни войны, ни смена цивилизаций. Следы ее можно обнаружить в самых неожиданных местах. Мы столкнулись с ней в совершенно обычной, «нормальной» ситуации. На уборке картофеля. Собрав корнеплоды с поля в

окрестностях местечка Липовины, взрослые начали гоняться за хозяином поля, которому удалось как-то удрать. Мы были удивлены этой необычной ситуацией. Нам объяснили, что согласно обычаю следует по окончании уборки урожая картошки поймать владельца поля, повалить его на поле и протащить вдоль борозды. А ему, в свою очередь, следует не дать себя поймать. Если этим обычаем пренебречь — урожай на поле на следующий год будет хуже. Позднее мы узнали, что очень похожие обычаи существовали в древней Греции еще за тысячи лет до нашей эры.

1. Элкский повет находится в восточной части Варминско-Мазурского воеводства, а Браневский — в северо-западной, на севере он граничит с Россией (Калининградская область), на северо-западе естественная граница — Вислинский залив.
2. Во времена ПНР эти территории принадлежали госхозам (аналог совхозов. — Ред.). После того как страна перешла на рыночную экономику, большинство госхозов обанкротилось. Госхозы часто выполняли роль организаторов общественной жизни в своем районе, их упадок привел к невосполнимым потерям в структурах местной общественности, утративших способность приспособиться к новым экономическим условиям.

МОЛОДЁЖЬ В СТАРОМ МОНАСТЫРЕ

В Любёнж, расположенный в 54 километрах от Вроцлава, я приехала поздним вечером. Мое внимание сразу же привлекло внушительных размеров сооружение, бывший монастырь цистерцианцев. Я быстро ставлю палатку на чудом найденном клочке поля у самого подножия оборонительных стен. Дождь льет, не прекращаясь ни на секунду. Вокруг полно людей. Всё в движении. Увидеть больше мне удастся лишь на следующий день. Всё начинается, как толькоходишь в ворота. Там и тут встречаешь группы улыбающихся людей, беседующих на самые разные темы. Отовсюду доносится музыка, которая будет звучать здесь до позднего вечера. Бродя по территории бывшего монастыря и заглядывая в его уголки, я на каждом шагу встречаю сплоченные группки людей, сосредоточенно над чем-то работающих. Каждая из этих групп «специализируется» в чем-то своем — в изготовлении лампионов, масок, элементов бижутерии.

На траве молодые люди вот уже в течение часа выполняют серию упражнений на карематах. Всё это выглядит впечатляющее, тем более что здесь же поблизости несколько энтузиастов упорно пытаются овладеть трудным искусством жонглирования шариками. Я робко заглядываю в одну из нескольких палаток, что расположились по соседству с монастырем, — на импровизированной сцене парень в кепке с козырьком и в модных очках щеголяет умением подражать голосом звукам музыкальных инструментов. Пробираясь по темным коридорам дальше, я вдруг вижу выстроившихся в ряд у стены людей, которые в поте лица упражняются в езде на моноцикле. В залах, коридорах, на площадках, разбросанных по всей территории монастыря, кипит жизнь. Всю эту суматоху затеяла Ассоциация местных творческих центров (Stowarzyszenie lokalnych ośrodków twórczych), а само мероприятие, которое ежегодно привлекает в Любёнж несколько тысяч людей, в том числе из-за границы, называется «SLOT Art festiwal».

Начало было скромным. Шли 80-е годы, группа энтузиастов решила провести концерт группы «No Longer Music» из Амстердама, которая первоначально должна была выступить в

рамках фестиваля в Яротине. Но группу из программы вычеркнули за «пропаганду христианских идей». Неофициально проведенный концерт прошел с огромным успехом. Группа еще несколько раз побывала в Польше, а сам необычный характер этих событий с каждым разом привлекал всё больше слушателей. Те люди, что помогли концертам состояться, впоследствии и создали Ассоциацию местных творческих центров. У них голове зародилась идея проводить фестиваль, а не ограничиваться одноразовым концертом. Кшиштоф Слабонь, программный директор фестиваля 2009 г., вспоминает:

«Это был 1993 год, в городке Стаче собрались около 60 человек. Атмосфера была панковая. Центральным местом стала сцена под тентом из пластика, натянутым между двумя армейскими бочками, на которой выступили две группы с одним и тем же составом. Одна из них называлась, конечно, „Пластик банд”».

Так был проведен первый, в то время оставшийся почти незамеченным фестиваль, у которого даже еще не было своего названия. Но из года в год он приобретал размах, разрастался и, что было особенно удивительным, несмотря на отсутствие пиара, привлекал всё больше желающих. Информация о фестивале, передаваемая из уст в уста, распространялась всё дальше и дальше. Следующие фестивали уже проходили в крепости Бойен в Гижицке. Масштаб события диктовал смену места. Организаторы также ежегодно обогащали программу за счет новых художественных начинаний, мастер-классов, лекций и выставок. Но они не останавливались на достигнутом. Переломным оказался 2001 год. Фестиваль в очередной раз сменил место. Выбор пал на монастырь цистерцианцев в Любёнже, который и по сей день принимает огромную массу участников фестиваля.

Первоначально свою деятельность инициаторы фестиваля осуществляли еще не в рамках Ассоциации, а организуемое ежегодно мероприятие они сами называли «Слёт» (по-польски «Zlot»). Нынешнее название стало ответом на постоянно звучавший вопрос — чей слёт? Вместо буквы «Z» появилась «S», создав тем самым аббревиатуру SLOT. Тогда возник вопрос: как расшифровать возникшую аббревиатуру? Таким извилистым путем инициаторы июльского фестиваля пришли к названию своей ассоциации. Одновременно оказалось, что слово «slot» в английском языке означает «трещина». «Для нас это трещина, нарушающая равнодушие, бездумное потребление, отсутствие амбиций и терпимости», — заявляют организаторы.

Формату события в немалой степени способствует сам монастырь в Любёнже. На несколько дней архитектура монастыря становится картой фестиваля. Монастырский комплекс поражает прежде всего внушительностью своих размеров. В Европе с ним не может сравниться ни один объект подобного типа. Ежегодно подготовка столь обширной территории требует огромных усилий: строятся музыкальные сцены, появляются палатки, предназначенные для фестивальных кафе. Создается система санузлов и умывальников, рассчитанных на несколько тысяч участников. Разнообразие монастырских помещений — тоже своего рода вызов изобретательности организаторов, от которых зависит, удастся ли вдохнуть в эти помещения жизнь самым небанальным образом.

Среди залов и коридоров монастыря особенно интересен, пожалуй, собор, который на время фестиваля превращается в художественную галерею. В последний день в нем еще и показывают всё, что удалось участникам смастерить за время нескольких фестивальных дней. Участники театральных и танцевальных мастер-классов представляют результаты совместной работы, происходят мини-концерты.

Несмотря на то, что Слёт организован протестантскими кругами, это не чисто христианский фестиваль. Столь же хорошо там может чувствовать себя человек иного вероисповедания или же тот, кто с Богом в повседневности почти не общается. На сайте фестиваля я нахожу информацию:

«Мы все хотим говорить людям о Боге, ибо в нашей жизни Он самое главное, но мы не хотим делать это насильно и вопреки воле тех, кто приехал на Слёт и не имеет на это ни малейшей охоты. Для нас важно, чтобы Слёт содействовал созданию нейтральной площадки для встречи творческих людей и для тех, кто, быть может, находится сейчас в поисках».

Эта декларация соответствует действительности. Цель фестиваля — не в бесцеремонном обращении участников. Это скорее предложение, которым можно воспользоваться. Слёт должен прежде всего стать пространством свободного обмена мыслями, взглядами, опытом. Главная его цель — поощрять людей проводить время творчески, прививать им потребность к действию. «Слёт показывает, что не следует киснуть в своих городах. Ведь существует множество возможностей и способов сделать жизнь богатой и красивой», — добавляет Паулина, принимавшая участие уже в семи прошедших фестивалях, в том числе как волонтер.

То, что выделяет Слёт среди массы других фестивалей, — это программа, которая не сосредоточена на одном лишь жанра искусства. Это и не чисто музыкальный фестиваль, хотя музыка наполняет все монастырские пространства почти круглосуточно. Это и не кинофестиваль, хотя каждый вечер можно принять участие в ночном киномарафоне. Программа Слёта вмещает в себя множество творческих мероприятий. Основным критерий при отборе фестивальными предложениями — это поиск оригинального. Организаторы делают ставку прежде всего на альтернативную культуру. «Мы ценим независимых художников, подлинных, а значит, тех, кто испытывает внутреннюю потребность творчества, самовыражения и контакта с другими людьми, чье творчество не подчинено диктату спецов по увеличению тиражей и продаж» — комментирует Кшиштоф Слабонь.

Наряду с художественным, Слёт приобрел и социальный масштаб: «Фестиваль Слёт нашел свою ангажированность. Мы организуем Базар социальных инициатив, где представляем интересные по своей организации проекты. Мы всё больше вовлекаемся в „Движение справедливой торговли“, любопытную модель поддержки развивающихся бедных обществ в южных странах». Кроме того, каждый может по-своему обогатить фестиваль, устраивая мастер-классы. Это исключительная возможность поделиться своими увлечениями и умениями с другими людьми.

Слёт — это не только мероприятие в Любёнже. Группы активных людей, связанные с Ассоциацией местных творческих центров, в течение года занимаются организацией разного рода культурных мероприятий в своих городах. «Мы не хотим клонировать одну модель под реющим флагом Слёта. Для нас очень важно привить людям стремление к действию, к осуществлению собственных замыслов», — подчеркивает Кшиштоф Слабонь. Несмотря на это зачастую бывает трудно отказаться от той привлекательной формулы, которую представляет фестиваль. Чаще всего мероприятия, которые в течение двух дней проходят под лозунгом «Слёт-Фест», состоят из мастер-классов, концертов, кинопоказов. Одним из показательных примеров деятельности, вдохновленной Слётом и непосредственно с ним связанной, был «Слёт о востоке», организованный в марте 2009 г. в Кракове. Бирма, Китай, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Сибирь, Тайвань, Турция — снимки оттуда могли увидеть те, кто принял в нем участие.

«Слёт эволюционирует, и это естественный процесс. Он меняется по мере того, как на смену одному поколению

приходит другое. Это видно хотя бы на примере музыки. Когда-то он был рок-панковым. Теперь всё чаще появляется хип-хоп», — говорит Паулина. Поэтому я задаю вопрос, в каком направлении, по ее мнению, идет процесс изменений. «Когда я только начинала ездить в Любёнж, в фестивале принимали участие две тысячи человек. Теперь их уже около шести тысяч. Раньше все друг друга знали. Легче было установить контакт с остальными участниками, поговорить. Когда-то я ощущала некую общность. Для всех было важным примерно одно и то же. В любой момент можно было с кем-то начать разговор. Теперь с этим стало сложнее». Однако это новый вызов: как бы глобализация в микромасштабе.

СВЕТ ПАВЛА МУРАТОВА

Недавно увидела свет книга Клайва Джеймса «Культурная амнезия» (Clive James. Cultural Amnesia. London — New York, 2007). Клайв Джеймс — это очень колоритная и видная фигура англосаксонской культурной жизни. Автор работал над «Культурной амнезией» — весьма солидным томом — сорок лет. Тема книги — борьба с губительной силой забвения в культуре. Это убивающий культуру процесс, когда по политическим или моральным причинам, из-за духовной лени, идеологического ослепления целые тематические поля, целые литературные направления, целые социальные, религиозные, национальные, культурные группы обрекаются на замалчивание, вычеркиваются из памяти. Клайв Джеймс родился и провел раннюю молодость в Австралии, окончил Кембриджский университет. Как радиожурналист и автор телевизионных программ, он объездил весь мир. Его увлечение — открывать миру творцов, с которыми он познакомился. Он читает на многих языках: на французском, немецком, итальянском, испанском, за время своих путешествий выучил русский и даже японский. Он стремится познать эти культуры и представить свои открытия ярко, английским языком высокой пробы. «Культурная амнезия» — это итоговое собрание подобных открытий.

Почти на 900 страницах в алфавитном порядке Клайв Джеймс представляет свыше сотни фигур, о которых мы должны помнить, чтобы понять, откуда мы, где мы, куда мы идем. От Анны Ахматовой до Стефана Цвейга он воссоздает образы личностей, значимых для нашего времени. И эти образы представлены живо, увлекательно — некоторые более ярко, другие менее. Одно эссе меня совершенно поразило. Оно написано словно в иной, в сравнении с другими, тональности, когда между строк видится радость автора от своего невероятного открытия, отблеск восторга перед представляемой личностью и описываемым произведением. Это эссе о Павле Муратове, а более точно — величаяя и мудрая ода в честь «Образов Италии» как выдающегося достижения европейской культуры.

Случай Муратова позволил Клайву Джеймсу осознать, как может оказаться в забвении даже необычайно выдающийся человек. «Образы Италии» Муратова — это произведение на все

времена, но в современном сознании оно отсутствует, словно бы Муратова никогда не существовало. Но Муратов как раз существовал — исчезла Россия, в которой он родился и рос. Наверное, замечает Клайв Джеймс, в мире еще немало неведомых шедевров, но неведомы они обычно потому, что их достоинства могут быть не всегда бесспорны. «Образы Италии» — это безусловный шедевр. Это книга о путешествии по Италии — своего рода инициация в духовном становлении европейца. Она продолжает книги «итальянских путешествий» Гете, Грегоровиуса, Буркхардта, Симондса — но лучше каждой из них («Лучше Гёте?» — задает словно бы риторический вопрос Клайв Джеймс. И дерзко отвечает: «Да, лучше Гёте!»). «Обрами Италии» упиваешься, как прекрасной поэмой; но в них нет фальшивой поэтичности, есть соединение романтизма, глубоких размышлений и новаторства во взгляде на историю культуры. Магия Муратова заключена и в стиле. Он говорит с нами словно не из прошлого, но из будущего — из мира, в котором не будет уничтожения и забвения, доминирующих сегодня. Клайв Джеймс выражает радость, что открыл для себя Муратова поздно: необходима зрелость, чтобы понять «послание» этого произведения — принципиально важного урока европейского гуманизма.

Джеймса гнетет то, что произведения Муратова никто не знает. Сам он хранит как реликвию два экземпляра «Образов Италии» (трехтомное издание, выпущенное Гржебиным в эмиграции в 1924 году), которые ему удалось приобрести в его путешествиях по миру. Джеймс ощущает, что он один из немногих избранных, которые понимают, какое это сокровище. И задает вопрос, чем в течение десятилетий занимались бесчисленные отделения русистики в сотнях университетов богатого Запада, если не удосужились увековечить память о Муратове и его наследие.

На нескольких страницах Клайв Джеймс дает лучшую, на мой взгляд, интерпретацию шедевра Муратова. Он подчеркивает главное: «Образы Италии» — это нечто большее, чем эффектная книга по истории итальянского искусства; это книга посвящения в культуру, книга о роли культуры в нашей жизни — то есть о смысле нашего существования.

В одном только ошибается Клайв Джеймс. Ему кажется, что он единственный в мире, кто знает это произведение и видит в нем крупнейшее достижение европейского гуманизма. Но дело в том, что в Польше уже четыре десятка лет для тысяч читателей книга Муратова — это важнейший шаг в приобщении к культуре Италии. Так произошло благодаря уму,

упорству, знанию и литературному таланту лишь одного человека — Павла Герца. Это он добился публикации «Образов Италии» в государственном издательстве находившейся под коммунистической властью Польши, это он снабдил книгу ценным, исчерпывающим комментарием, но, главное, он перевел ее: Муратов в переводе Герца — это памятник польской словесности, канонический образец польской прозы.

Произведение Муратова оказало, однако, скрытое, но существенное воздействие на польскую культуру значительно раньше, чем появился перевод Павла Герца. Кароль Шимановский, ровесник Муратова (всего годом младше), в годы перед I Мировой войной путешествовал по Италии, а особенным событием для него стало знакомство с Сицилией. Полученные впечатления нашли свое отражение в знаменитых произведениях, созданных уже во время войны, на Украине, в родной Тимошовке. Тогда были написаны «Маски», «Метопы», «Мифы», Третья симфония, Первый скрипичный концерт. Шимановский тяжело переживал отрыв от Италии. Большевицкая революция изгнала его из любимой Тимошовки. Советский Елисаветград, где он себя чувствовал узником, казался ему местом, забытым Богом. От страшной действительности он бежал к искусству, к итальянским воспоминаниям. Он тогда писал роман «Эфеб» — очень личный, в котором хотел поместить свои мечты о лучшем мире. Фоном произведения были итальянские пейзажи и итальянское искусство, а весь роман должен был стать апологией красоты, любви, свободы, в том числе и свободы нравов, уважения к прошлому, веры в будущее. Шимановский придавал большое значение «Эфебу». Он писал эту книгу под псевдонимом, не собиравшись ее печатать при жизни по причине ее моральной раскрепощенности («Эфеб» — это апология гомосексуальной любви). Рукопись, которая после смерти композитора перешла под опеку Ярослава Ивашкевича, исчезла в руинах Варшавы в 1939 году. Но произведение не было полностью утрачено. Тереза Хилинская, исследователь творчества Шимановского, много сделавшая для сохранения памяти о нем, нашла в Париже в 1981 г. одну из глав романа, переведенную автором на русский язык и подаренную в 1919 г. его юному возлюбленному Борису Кохно, ставшему затем секретарем Дягилева и видной фигурой в музыкальном Париже. Тереза Хилинская опубликовала также найденные наброски к авторскому предисловию романа. В них Шимановский пишет, что в страшные годы революции искал спасения в том, чтобы перенестись воображением к прекрасному и ценному, к Италии, а поддержку находил в нескольких книгах: он называет произведения Ф.Ф.Зелинского,

«Рим» Грифцова и прежде всего прекрасную книгу Муратова «Образы Италии», которую он хотел бы рекомендовать всем и в которой находил источник надежды и силы в дни триумфа насилия и уничтожения.

В то же самое время и находя те же источники вдохновения Шимановский начал работу над «Королем Роджером». Эта опера касается той же проблематики, что и «Эфеб», связей и противоречий между дионисийским и аполлоническим видением жизни и творчества. Местом действия снова была Италия. Либретто писал младший кузен Шимановского Ярослав Ивашкевич, точно следуя указаниям великого композитора. Как говорил сам Ивашкевич, это не было для него простым делом, поскольку к моменту начала работы над «Королем Роджером» он не только никогда не был в Италии, но даже никогда не видел настоящих гор и моря. И фон «Короля Роджера» он должен был себе представить по описанию Шимановского и по книге Муратова. Так что данный Муратовым образ Сицилии нашел свое отражение в Сицилии Шимановского и Ивашкевича.

В 30-е годы Ивашкевич часто ездил в Италию и был восхищен этой страной. Своим увлечением он делился с другими художниками. Когда в середине тридцатых годов молодой Чеслав Милош получил стипендию на поездку в Италию, Ивашкевич посоветовал ему посмотреть Орвието и фрески Синьорелли (а когда в конце 50-х Збигнев Херберт первый раз поедет в Италию, Милош посоветует ему посетить Орвието, что увенчается прекрасным эссе Херберта). В 1936 г. Ярослав Ивашкевич встретился на Сицилии с юным, 17-летним поэтом Павлом Герцем и помогал ему знакомиться с итальянской культурой.

Павел Герц (Hertz, 1918–2001) с 15 лет начал публиковать свои классицистические стихи. В этом возрасте он бросил школу и формальную учебу (он, впоследствии, возможно, самый крупный эрудит в области польской литературы XIX века и ее связей с французской, немецкой, русской культурой, не получил не только высшего образования, но даже и аттестата зрелости...). Герц происходил из зажиточной, полностью ассимилированной еврейской семьи. В 1936–1937 годах путешествовал по Италии, изучая искусство, а с 1937 г. жил в Париже, где читал французских писателей, переводил французских поэтов и писал стилизованные польские стихи; он планировал осесть в Париже навсегда. Но летом 1939 г. приехал на каникулы в Польшу и в Париж уже не смог вернуться. Он был арестован НКВД во Львове и получил восемь

лет лагерей. Ценитель Пруста и Томаса Манна отправился в Сибирь на лесоповал. После пакта Сикорского — Майского его выпустили из лагеря, а после отказа СССР признавать польское правительство в Лондоне он затаился в Самарканде, работая в библиотеке. Тогда он изучил русский язык и углубил знания русской литературы, с которой был до того знаком по польским и французским переводам. Именно в Самарканде он прочитал два тома «Образов Италии» в дореволюционном издании.

Вернувшись в Польшу, Герц первое время стремился участвовать в начинаниях новой власти в надежде, что общественные перемены могут происходить иначе, чем в Советском Союзе. К 1949 г. иллюзии растаяли. И он решил, что в ситуации, которая сложилась у нас не по собственной воле и с молчаливого попустительства западных стран, следует предпринять работу в пользу упрочения классических ценностей европейской культурной традиции, то есть публиковать за государственные деньги издания классических произведений отечественной и зарубежной литературы, крайне тщательно, насколько это удастся, подготовленные. Он стал редактором отдела русской литературы в государственном издательстве и обеспечил новые поколения поляков прекрасно подготовленными собраниями сочинений Толстого, Тургенева, Достоевского — в старых, уточненных им переводах, а иногда и в собственном, замечательном переводе. Занимался он и польской литературой XIX века. Им подготовлена великолепная, в восьми томах, «Книга польских поэтов XIX века» — монументальное, непревзойденное издание.

В 60-х годах произошла некоторая либерализация издательской политики. Павел Герц посчитал, что раз с русского переводится довольно мало ценных произведений, то почему бы не издать самую лучшую книгу, посвященную итальянской культуре. Он переводил ее с любовью к тематике, с восхищением ее стилистическим совершенством, со знанием предмета. Но Герц хорошо ориентировался и в политическом положении. Он обратился к одному из партийных руководителей того издательства, с которым сотрудничал более десятка лет, чтобы тот, во время своей поездки в Москву, узнал, нет ли возражений против польского перевода дореволюционной русской книги об итальянской культуре (при этом умалчивалось, с какого издания будет сделан перевод; Герц раздобыл у варшавских букинистов полное трехтомное эмигрантское издание «Образов Италии»). Из Москвы пришло сообщение, что возражений нет. Так что издание можно было готовить без опасений каких-либо неприятностей.

Герц снабдил текст Муратова подробными ссылками, скрупулезным комментарием, включающим современную атрибуцию упоминаемых произведений и указание их нынешнего местонахождения, уточнил цитаты, привел сведения об упоминаемых художниках. Он сделал книгу Муратова современной, однако при этом в ней не исчез аромат эпохи, в которую она была создана. Но самое важное: Герц дал пример великолепного языка, в тональности, которой тогда так недоставало польскому языку в целом. Он сумел создать точный и одновременно яркий польский перевод текста Муратова, перед которым могли бы склониться Шатобриан и Вальтер Патер. Герц был великолепным переводчиком с французского, немецкого, русского. Но польский перевод Муратова — это явление иного, более высокого ранга. Этот тот исключительный случай, когда удалось создать иноязычный текст произведения с такой силой выражения, чтобы оно стало классическим и на языке перевода.

Книга Муратова в польских языковых одеяниях Герца и в прекрасном издании, вышедшая в Варшаве в начале 70-х годов, нашла тысячи благодарных читателей. Мне довелось познакомиться с книгой сразу после ее выхода в свет и сразу после первой моей длительной поездки по городам Италии. Я готовился написать «Память Италии» — описание моего путешествия как инициации, как вхождения в итальянскую стихию. Мне хотелось самому понять, чем явилась такая поездка для человека, стремящегося сохранить и укрепить внутреннюю свободу и прикоснуться к истокам культурных традиций. И в этом мне помогла книга Муратова.

На меня эта книга оказала более сильное и более личное воздействие, чем «обычный», пусть даже замечательный, очерк о художественном путешествии или какое-либо исследование по истории искусства. Почему? Мне кажется, что Герц, переводчик Пруста, издатель Томаса Манна, сумел подчеркнуть тот аспект книги Муратова, который обеспечивает «Образам Италии» необычайно сильный ореол. Произведение Муратова, по моему глубокому убеждению, — это одно из тех фундаментальных созданий европейской культуры, которые возникли в момент ее глубокого кризиса — в эпоху I Мировой войны и выросших из нее процессов разрушения культуры, русского большевизма и немецкого национал-социализма. Было несколько таких произведений, начатых перед великим изломом и оконченных уже в новую эпоху: «В поисках утраченного времени» Пруста, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Дуинские элегии» Рильке, «Бесплодная земля» Элиота. К ним относится и книга Муратова, и в этом

контексте следует ее рассматривать, чтобы понять ее величие и удивительную жизненность. Этим, по-моему, «Образы Италии» отличаются от других произведений Муратова. Книга обращена к нам, к нашим проблемам. Мне кажется, что столь сильный ореол Муратова в Польше обеспечен тем, что у нас уже несколькими поколениям особенно близка проблема борьбы за свободу личности, за обретение суверенного голоса.

Благодаря прекрасному переводу Павла Герца я смог по достоинству оценить созданное Муратовым. «Образы Италии» вот уже несколько десятков лет относятся к числу главных для меня книг, помогающих не потерять себя в современном мире, ответить на его вызовы. Как и Клайв Джеймс, я переживал, что этого шедевра не знают на Западе, что нет переводов ни на один европейский язык. И я старался по мере моих возможностей информировать об этой книге, но без особого успеха. В 1994–1995 гг. я вел семинар по европейской эмигрантской литературе в Нью-Йоркском университете. Рассказывал студентам о произведении Муратова. Как-то в университете выступал с лекцией Иосиф Бродский. Мы познакомились еще в 1981 г., когда я был в Йеле. Мы вместе входили в редколлегия «Зешитов литерацких», основанных тогда Барбарой Торунчик. Иосиф относился ко мне с симпатией, он предлагал мне протекцию в издательском мире, когда я остался на Западе после введения в Польше военного положения. Я не воспользовался его предложением, но мне был очень приятен доброжелательный жест знаменитого поэта и эссеиста. После лекции я разговаривал с Иосифом. Мы говорили о том, кого считаем наиболее интересными фигурами в эссеистике. Иосиф назвал имена англичан, немцев, великих женщин русской литературы Ахматову и Цветаеву. Я спросил его о Муратове. Иосиф на секунду замолчал, вздохнул, словно бы перенесся на другой уровень рассуждений о литературе, — и сказал с глубоким волнением: «Ah! he was a genius!».

В этот момент кто-то прервал наш разговор. Тема изменилась. Я хотел вернуться к Муратову, потому что понимал: Иосиф Бродский, с его положением в литературном мире, мог бы способствовать публикации «Образов Италии» на иностранных языках в близких ему издательствах — по-итальянски в «Biblioteca Adelphi» или по-английски в «Farrar Straus and Giroux». Я хотел сразу после встречи позвонить ему, но не решился, зная, что у него очень неважно со здоровьем. Отложил дело до своего возвращения в Париж. Напишу ему, напомним о его предложении помочь с издателями, о его отзыве о Муратове, сумею заручиться поддержкой. Я начал писать

письмо — пришла весть о смерти Иосифа. Недописанное письмо хранится у меня в компьютере.

Поэтому текст Клайва Джеймса вдохновляет меня: и другие думают, что великая книга Муратова должна стать достоянием европейской культуры. Я уверен, что найдутся для этого силы, более значительные, чем мои. И теперь надеюсь, что мне вскоре посчастливится увидеть английское, французское, итальянское или немецкое издание «Образов Италии». Но должно при этом еще и случиться так, чтобы светоносная книга Муратова сыграла на этих языках ту же роль, что и в польской культуре. Перевод должен хотя бы приближаться к рангу монументального творения Павла Герца.

АХЕРОН

Накануне отъезда Владимира Сергеевича занесло в Сокольники. Откуда взялся подхвативший его вихрь — неизвестно. Возник внезапно, задул, вытряс душу и так же неожиданно стих. Проще объяснить, почему Владимир оказался именно здесь. Вокруг — знакомые с детства аллеи. Тогда они были — а может, только казались — шире и наряднее. С годами подурнели, заросли кривобокими кустами и сорняками. Не так давно *Моссовет*^[1] вновь проявил к ним интерес: аллеи подровняли, вылизали, обновили. По тропинкам, как всегда, мчались запыхавшиеся физкультурники. На вид они достигали пика наслаждения. По сути же словно бы торжественно выполняли гражданский долг. За низкой живой изгородью будто грибы вырастали шахматисты. Они торчали на тех же скамейках, что и много лет назад. Как рыбаки, уверенные, что рыбу можно выловить из любой лужи, как жулики, делающие свое дело без лишних слов и канители. Володя (увы, давно уже Владимир) не спеша приблизился к ним. Остановившись неподалеку, на небольшом пригорке, озирает беспорядочную толпу игроков и болельщиков. В прежние времена его внимание привлекли бы позиции на шахматных досках; спички, осторожно подсунутые под клеенчатые шахматные доски; часы — старомодные, высокие и величественные, а также новые, импортные, хитроумно подкрученные на пару секунд. Сами игроки, вероятно, занимали бы его куда меньше. Теперь же всё наоборот. Самая диковинная позиция была ему не в новинку. Что же касается людей, Владимир узнавал одни лишь жесты. Не лица. Печально, но ни одно не показалось знакомым.

Он постоял несколько минут возле игроков и неторопливо зашагал обратно. Убедившись, что искать тут больше нечего (действовавшая на нервы мысль: если он был в этом уверен, то какого черта тут делает?), Владимир направился к воротам.

Ближе к выходу из парка он встретил сгорбленную старуху с мешком на плечах.

— Ну вот, еще одну изволь обслужи, — чертыхнулся в душе Владимир, привычно протягивая женщине руку помощи. В последние годы его окружало бабье царство, которому приходилось угождать и так, и эдак. В прежние времена женщины — сильные и работающие — выручали в любой

ситуации. Сегодня всякая на что-нибудь жалуется, стонет, хворает — никакого в них проку. Хозяйка мешка благодарно вздохнула. Обнажила в признательной улыбке золотой зуб, фирменный знак советской стоматологии.

— Да что ж у вас там такое?

— А вот взгляните, сколько добра, — старуха щедрым жестом открыла мешок, и при виде его содержимого Владимир мысленно выругался. Из влажного дерюжного чрева на него глянул десяток кило яблок. Почти все с бочком, попадались и вовсе гнилые.

— И надо вам это? — спросил Владимир с непритворной суровостью. Он сам виноват — ввязался в эту дурацкую историю, а до ворот еще порядочно.

— По дешевке брала, так что стоило. Штрудель домашний можно сделать. Умеете?

Мешок был тяжелый, так что рецепт штруделя Владимир пропустил мимо ушей. Полбеда, если старуха живет одна. Но если семейство большое, а до ветру только одна дырка в бетоне? Страшно подумать, чем закончится сие пиршество. Владимир почувствовал себя соучастником массового отравления. Он ускорил шаг, добравшись до цели, сбросил ярмо, буркнул «Здорово» и пошел, не дожидаясь нового потока благодарности и не обернувшись. Через минуту, однако, глянул назад. Дама, довольная, топала со своими трофеями, будто впереди ее ждала собственная шумная свадьба.

Мысли о нищете вновь посетили Володю ближе к вечеру. Он присоединился к участникам турнира, которые заняли весь вагон поезда Москва—Санкт-Петербург. Кстати, хороший вопрос — куда направляемся-то? В Ленинград, как обычно, или, может, в Питер, как именуют сей град с недавних пор? Старики не сомневались. Пожимали плечами: они с самого рождения знали один лишь Ленинград. Недавно возвращенное название «Петербург» — не более чем снобистская прихоть, не первая в наше шальное время. Молодежь, облаченная в диковинные футболки с английскими надписями (только раз попалось изображение Че Гевары) беззастенчиво препиралась со старшим поколением. Этим импонировало наследие Петра Великого. Мол, защитил город от шведов, крепкой рукой открыл окно на Запад. Да, брил бороды, ввел налог за ношение русского платья, так это разве грех? Другое дело — рыжий приبلудыш. Владимир Ильич в роли патрона старой российской столицы вызывал у молодых смех. Они потешались

над штурмом Зимнего (удвой защищавший дворец женский батальон — и с атаку отбили бы даже бабы). Распевали скабрёзные частушки об историческом залпе «Авроры». Слушать спокойно невозможно. Вскормленный Союзом гроссмейстер Б., самый речистый славянофил в вагоне, тщетно пытался затронуть патетическую струну.

— Посмотрите, какая нищета, чудовищная нищета окрест, — повторял он глубоким баритоном. И пухлой рукой описывал широкую дугу, указывая на пейзаж за окном. А там — бескрайние безлюдные равнины: население, похоже, вымерло под властью демократов.

Иные из спорщиков даже были готовы согласиться с этим народником, но что с того? В сумбурной и бесплодной дискуссии речь шла вовсе не о поиске истины, и сама она объяснялась не столько противостоянием поколений, сколько скрытым распределением ролей. В сущности, подумал Владимир, всё зависит от того, кто и где у нас дедушка-бабушка-папа-мама. Приобщились они к благам, тихим живительным потоком струившимся из *райкома*, комитета *госбезопасности* или хоть *спорткомитета*, — или же испытали на себе лагерно-сибирский дискомфорт. Пережили те времена в целостности и сохранности, здоровье и достатке — или не выжили вовсе. Мысли, невзначай позаимствованные у Фридриха Энгельса с его знаменитым бородатым содержанцем, Володя, однако, не облачал в слова. В истории Владимир Сергеевич разбирался из рук вон плохо. Кроме того, никто и никогда не интересовался его политическими взглядами, поскольку к любой власти он всегда относился с уважением. Володя вырос и проживал в Подмосковье, среди спокойных порядочных людей, да и сам был человеком хорошим. Теперь он сторонился пышущих агрессией очередных свар. Сидел осоловело у окна. С самого утра мучился ощущением случайности своих поступков. Вот сначала в Сокольниках прохлаждался, теперь вот неведомо зачем польстился на утомительную поездку. К тому же эти случайные решения моментально вязли в какой-то колее. Володя въезжал в нее механически и бездумно, словно цель была задана априори.

Шахматисты двух городов дважды встретились еще при царе Николае, до первой мировой войны. Потом Москва сразилась с Петроградом в бурном семнадцатом году. Наконец москвичи начали ежегодно встречаться со сборной Ленинграда на родине большевиков. Обставлялись эти матчи всегда с большой помпой. Порой им негласно покровительствовал сам *нарком юстиции и генеральный прокурор* Крыленко. Хотя в тридцать

восьмом он лишился жизни (Сталин дал, Сталин взял), всё осталось по-старому. Престиж матч-турнира Москва—Ленинград пережил все бури. На открытие всегда являлось городское начальство, иной раз для украшения выносили даже секретаря *политбюро*, словно елочную игрушку. Игры активно освещались радио и прессой, а позже телевидением. Лишь при Горбачеве всё это начало блекнуть, а при Ельцине практически сошло на нет. Впрочем, ничьей злой воли в том не было. Просто открылись границы. Теперь не только Венгрия и Болгария ждали российских охотников за наградами — перед ними простирался весь Запад. В то время как одни, примерные дурачки, послушно принимали участие в традиционном турнире двух столиц на сорока досках, другие, попредприимчивее, в Баньо или в Мадонна-ди-Кампилио склонялись над калькуляторами, подсчитывая перед последней партией выгодные комбинации и махинации, на которых всегда можно выиграть добрых восемьдесят, а то и сто пятьдесят баксов.

Так что неудивительно, что в этом году турнир перенесли на окраину Петербурга. Столичные гости, да и кое-кто из местных долго плутали по переулкам, прежде чем отыскиали нужный адрес. Их встречал низкий и темный зал, в повседневной жизни служивший заводской столовой. Над кухонным окошком висел обрывок ватмана с выведенной неумелой рукой надписью: «Приветствуем участников традиционного турнира». Симпатичная улыбка толстощекой буфетчицы компенсировала запахи, доносившиеся из кухонных недр (позавчерашние котлеты с сегодняшними макаронами — доживем ли мы до того времени, когда они хоть местами поменяются?). Больше в зале ни души — даже намек на официальных гостей нет. Ни тебе разрезаний ленточки, ни говорильни о неслабеющей дружбе двух городов. Вам опять приспичило встретиться, вы не бросили свои детские игрушки — и ладно, играйте себе на здоровье.

Владимир Сергеевич сразу побрел печально-привычно в угол зала, к столику номер тридцать семь. Еще несколько лет назад он сидел выше, а сегодня радовался, что вообще включен в команду. Ему было не по себе. Небось, придется играть с каким-нибудь юношей. И выиграть у такого — невелика слава, и проиграть стыдно. Володин соперник уже сидел перед доской, но юношей никак не был. Покачивая седоватой головой, он неуклюже приподнялся, чтобы поздороваться с Владимиром Сергеевичем. При виде знакомой, хоть и предательски искажившейся фигуры сердце у того внезапно заколотилось. Он

глазам своим не поверил: Мясник! Мясник собственной громомечущей персоной!

В невысоком, тощем, словно зубочистка, сгорбленном человеке с отвратительно землистым цветом лица трудно было узнать прославленного некогда задиру, многолетнюю опору ленинградского «Локомотива». Прозвищем своим он был обязан бойням, каковые регулярно учинял над игроками низкой квалификации; кроме того, почти ежегодно ему удавалось подбить какого-нибудь гроссмейстера. Сидевший — для отвода глаз — в глубоком тылу команды, он методично рубил и безжалостно кромсал врага. Было дело, много лет назад, пал от его руки и Володя. Вряд ли Мясник об этом помнит. Занятый своим грязным делом, обагривший фартук множеством несмываемых пятен, он не интересовался судьбой своих жертв. Впрочем, пока другие боролись, соревновались, добивались очередных званий, Мясник сидел на месте, неохотно покидая родной город и изолировавшись от внешнего мира. Одинокое склонившись над маленькой магнитной доской, он докапывался до сути вещей — во всяком случае до того, что казалось ему таковой. Как у каждого художника-любителя, наряду с гениальными идеями у него случались и весьма банальные. И то, и другое он охотнее демонстрировал на тысячных блиц-турнирах под безмятежной сенью парковых деревьев, чем на серьезных соревнованиях. Вероятно, поэтому, имея репутацию оригинала, подобного гениальному татарину Нежметдинову, спортивной карьеры он не сделал. Шли годы. Когда-то Мясник злился на приклеившееся к нему прозвище и отбивался от него руками и ногами. Лишь когда силы и здоровье пошли на убыль, он полюбил и сам псевдоним, и себя в этой роли.

— Они там играют как следует, — махал он на корифеев за первыми досками. — А я — что? Простой мясник, мне, похоже, на роду написано тесаком махать.

Мало кто этому верил. На него всегда смотрели недоверчиво.

Мясник, которому уже стукнул полтинник, не успел ни родить сына, ни построить дом. А вот дерево ему, говорят, посадить удалось, и вполне солидное, причем в самом центре мегаполиса. Полушепотом передаваемая из уст в уста легенда гласила, будто однажды, шагая по утоптанному тысячами ног тракту, Мясник отковырнул брусчатку сбитым каблуком, и вдруг — по какому-то наитию — склонился и обнаружил корень, росший у самой поверхности земли, но никем не замеченный — никто даже не подозревал о его существовании. Зажатый в угол загородной беседки, в последней партии

еженедельного турнира быстрой игры, с соперником, фамилии которого Мясник раньше не знал, а после не мог припомнить, на поле, уже, вроде, вдоль и поперек перепаханном теорией, он сделал открытие — изобрел двойную жертву качества. Это была красивая победа — жаль, что мало кто был тому свидетелем. Спустя две недели Мясник решил похвастаться перед знакомым спортивным журналистом и пересказал партию по памяти. Чтобы не обидеть собеседника, малограмотный журналист изобразил восторг и записал ходы на бумажке. Дома интереса ради включил компьютер (правда-правда). Выданный машиной результат удивил его. Через год, во время матча на звание чемпиона мира, судьба свела журналиста с зарубежным гроссмейстером, секундантом великого Сотова. Мол, столько твердят про шахматный кризис, а у нас тут, на окраине Петербурга, один старик вот такую штуковину сочинил. Иностранец пригляделся к любительскому изобретению вежливо, но снисходительно. Однако в чем фокус, на всякий случай запомнил. Перед самым матчем зашел к Сотову. Обнаружил того над лоханью, полной слез и алкоголя, — так бывает, когда творческие силы безвозвратно иссякают. Чтобы развеселить гроссмейстера, секундант показал Сотову запомнившуюся позицию. Тот восторгнулся, моментально сообразив, какую ценность представляет собой эта находка.

Невероятно, но что-то в этом есть! Дальше всё покатилось гладко. В решающей партии после сорока минут раздумий Сотов, великий мыслитель, изобразив гениальную импровизацию, выдал фантастическую идею двойной жертвы качества. Совершенная красота!

Идея Сотова облетела весь мир. Она всколыхнула интернет, и под именем изобретателя была вписана в анналы истории шахмат. Мяснику, узнавшему об этом с большим опозданием, сделалось не по себе. Он хорошо помнил, что это в его мозгу некогда вылупился птенец, ставший теперь такой важной птицей. Но доказательств — записи партии — у него не было. Да Мясник и не помнил, с кем играл в тот раз. Он мог сослаться только на одного свидетеля, да и то сомнительного. При случае, однако, Мясник робко намекнул журналисту. Никакой реакции. Тому пришлось выбирать между кустарем Мясником и чемпионом Сотовым; и выбор его был вполне предсказуем. Так что Мясник, петербургский изобретатель пороха, остался безвестным.

Володя, которому выпало играть белыми, сел за доску, в сущности, не имея никакого плана: кто знает, что придет в голову Мяснику? Он знал только одно: следует как можно

дольше избегать непосредственного столкновения. Давние воспоминания о железных объятиях Мясника не сулили ничего хорошего. Так что Володя, спокойно маневрируя пешками на первых линиях, разыгрывал бесхитростный дебют. Уверенный в себе Мясник тоже никуда не спешил. Оба возводили свои крепости вдали от противника, обозревали войска, наслаждались ненарушенной стройностью их рядов. Лишь через полчаса начала просматриваться будущая ратная архитектура. С каждым ходом прояснялись ее туманные очертания. Володя оглядел карту местности, и сердце у него снова заколотилось. Картина была вполне знакомая: староиндийское начало, язвительное и в наше время разыгрываемое редко. Сомнительно, чтобы Мясник, искренне презиравший шахматную литературу, мог иметь о нем хоть малейшее представление. Да это и видно: его сонные, небрежные движения на этот раз не были наигранными. Ничего не подозревая, Мясник не спеша приближался к темному лабиринту, выход из которого можно отыскать, только если заблаговременно и тщательно изучить план. Мясник в роли дальновидного усердного исследователя теории? Это было не в его характере.

Владимир Сергеевич, сосредоточенный, но и успокоенный таким оборотом дел, представил, что ведет войска против Мясника — предводителя мятежников. Посмотрим, станет ли Мясник хулиганить по своему обыкновению. Владимир достал из портфеля яблоко, вынул ножик, аккуратно, неторопливо очистил и ловко разрезал фрукт на равные дольки. Предложил сопернику. Мясник отказался, едва заметно тряхнув головой.

— И ничего удивительного, дружок, — мысленно сказал Владимир Сергеевич, придя вдруг в доброе расположение духа. — Ведь сегодня моим яблочком будешь ты. Этаким наливным яблочком.

Он глянул на противника и на сей раз едва удержался от смеха. Мясник торжественно и величаво водружал на столик термос с чаем. Дело не в том, что термос был стар и поцарапан. Забавно, что Мясник подражал чужому «имиджу» — неловко, поскольку тот противоречил его молодецкой натуре. Да и сильно устарел.

От почтенного носителя легендарного термоса осталось яркое воспоминание. Первого мая 1995 года трехкратный чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник с печалью и отвращением смотрел по телевизору репортаж о праздновании праздника труда. Пикники и факельные шествия. На улицах толпы равнодушных обывателей, коллективное обжорство мороженым, отовсюду жуткие звуки рока. Только на Тверском

бульваре сотня бравых стариков с красным знаменем и транспарантом «Долой капитализм». Они идут медленно, нестройно поют военные песни, в том числе времен Буденного. Пятеро милиционеров отгоняют от демонстрации молодых зевак, всю потешающихся над ветеранами. Плачевное зрелище, сердце сжимается от жалости. Михаил Моисеевич лег на кровать и закрыл глаза, что в последнее время случалось с ним все чаще и чаще. Однако на этот раз он решил больше не подниматься.

— Хватит, надоело.

— Но, Миша, как же так?

— Всё, я сказал, хватит. Больше не встану.

Домашние в шоке, заламывают руки. И даже поделиться дурной новостью не с кем. В прежние времена решение Ботвинника стало бы событием эпохальным, но не теперь. Давно покинутый Иосифом Виссарионовичем, потом постепенно забытый властью и народом, великий шахматист вовсе не собирался торжественно обставлять свой уход. Раз не будет гражданской панихиды, предпочтительнее всего — интимность. Михаил Моисеевич наказал родственникам:

— На кладбище чтоб никого — только вы!

— А как же верная шахматистская братия?

— Кто захочет, сам отыщет дорогу. Слетятся, как воробьи, — сказал Ботвинник, в последний раз открыв глаза. Его выслушали и прислушались, как всегда. И как всегда, Михаил Моисеевич оказался прав.

Правда, воробьев слетелось негусто. На Гоголевском бульваре, 14, у здания Центрального шахматного клуба, собралось, включая Володю, десятка два москвичей — товарищей по оружию. Еще один сербский гроссмейстер, обожавший Россию, и один поляк, влюбленный в русские шахматы. Перед входом в клуб было пустовато. Желто-коричневая уборочная машина монотонно вращала огромными щетками. Минут через сорок к зданию подполз небольшой, астматически кашляющий автобус. Дверь открылась, и по знаку водителя все гуськом забрались внутрь. Михаил Моисеевич одиноко лежал в конце автобуса. В черном ящичке, напоминавшем колыбель, он казался меньше, чем при жизни. И, похоже, никуда не торопился. На груди, под скрещенными руками, — ни наград, ни орденов. Ни ордена «Знак почета», ни ордена Трудового

Красного Знамени, ни ордена Октябрьской Революции, ни даже ордена Ленина.

Ботвинник не взял их в последний путь, хотя в свое время они были для него предметом гордости. Прощаясь с шахматистами, он, видимо, хотел подчеркнуть, что его величие чуждо какого бы то ни было официоза. Осторожно переставляя ноги, участники траурной процессии один за другим приближались к тому месту в автобусе, где обычно ставят детские коляски. Михаил Моисеевич благосклонно взирал на них из-под сомкнутых век. Он больше не мог воспользоваться своей легендарной памятью. Не мог отличить знакомого от незнакомого, знаменитого игрока от терпеливого болельщика. Всем без исключения полагалась порция доброжелательности, а то и благодарности. Уместно было бы и доброе словцо, но с этим возникли непреодолимые трудности. Прежде грозный лик Ботвинника на мгновение приобрел мягкие отеческие черты. Словно чемпион планеты намекал друзьям, что эпицентр мира неслучайно перенесся именно сюда, в тесный салон списанного рейсового автобуса. Мы всегда ездили вместе, но теперь мне пора на пересадку. Смущенные столь короткой аудиенцией несостоявшиеся пассажиры высыпали обратно на тротуар. Преодолевая аритмию, опустевший автобус двинулся по направлению к Садовой. Шофер ассенизационной машины, один из тысячи игроков первой категории, на которых стоит великая Русь, тут же завел мотор, собираясь присоединиться к траурной процессии. Но так же внезапно, как тронулся, вдруг остановился. Он был под впечатлением величия момента, но, вероятно, оказался смущен одиночеством Ботвинника.

В противоположном ряду, как раз напротив Володи и Мясника, за столиком номер десять развалилась пара напыщенных юнцов. Их фамилии и на сей раз ничего не говорили Владимиру, хотя полученные в столь молодом возрасте карточки гроссмейстеров должны внушать почтение. По крайней мере сопутствующие им циферки — 2500 и 2490. Молодые обладатели номеров, в отличие от узников концлагерей, казалось, наслаждались оказанным им признанием. В отличие от Владимира Сергеевича и его партнера, занимавших в рейтинге места на двести пунктов ниже и шокированных самой идеей инвентаризации шахматистов. Мясник даже не посмотрел, какое место ему досталось согласно лагерной иерархии. Володя — тот проверил, но вместо того, чтобы отдать должное молодым гениям, предался воспоминаниям о собственной юности.

В прежние времена расставленные на столиках таблички с фамилиями игроков говорили сами за себя. Их бывало тогда не более полутора десятков — против теперешних полсотни. Места игроков они указывали скорее для проформы. Шахматистам не приходилось представляться — их и так все знали. Их окружал ореол рыцарской славы. Никто бы не спутал Давида Ионовича с Паулем Петровичем, а позже Виктора Львовича с Борисом Васильевичем. Каждый титан отличался не только характерным обликом, но и неповторимым, неподдельным стилем. В кульминационные моменты фейерверком вспыхивали их сокровенные идеи. Заставляя битком набитый театральный зал гудеть от восторга и оправдывая фосфоресцирующую над сценой надпись «Соблюдайте тишину!». Их имена попадали в турнирные бюллетени, а оттуда — в толстые малотиражные издания. Они определяли пейзаж и одновременно формировали канон.

В последние же десятилетия XX века всё изменилось. Высокую гору, на которой стояла горсточка гроссмейстеров, окружали и подмывали всё более многочисленные потоки. Снизу напирала толпа новых колонистов — жадных до прибыли, вооруженных и снаряженных куда лучше, чем предшественники. Между тем одного технологического прогресса было недостаточно, на вершине просто не хватало места для всей этой человеческой массы. Добравшись на машине — а кто посостоятельней, и на вертолете — до макушки Эвереста, очередной турист находил помимо египетских пирамид, брошенную аппаратуру hi-fi. У античных статуй отрубили то, что показалось лишним, и выковыряли зрачки. Стойка с сувенирами манила футболками с надписями «I am Edmund Hillary» и «Reinhold Messner Group». Неопытным или чересчур рассеянным альпинистам предлагались кислородные маски по завышенным ценам. Над самой пропастью торчала из скалы авангардная постройка стоимостью в миллиард долларов, спроектированная бразильским архитектором; вывеска Макдоналдса устремлялась ввысь, точно знамя независимости. Достаток обращался в пресыщение. Пускай в интернет-кафе появились хитроумные устройства, сулящие дальнейший прогресс. Но весть о скорой установке трансляционно-подслушивающей аппаратуры в помощь игрокам переставала тешить. Когда таким образом делают из дерьма конфетку, а из халтурщика — гроссмейстера, прелесть соревнования неизбежно пропадает.

В толкотне, хаосе и спешке начало организовываться, структурироваться, отгораживаться новое поколение завоевателей. К прежним дворянским титулам прибавились новые, сперва достававшиеся потом и кровью, а затем попросту

покупавшиеся на рынке. Их выводили на табличках, под фамилией, в надежде, что это поможет редющей публике отличить одного нувориша от другого. Той же цели служило введение цифрового рейтинга — математического способа пометить завоеванные территории согласно степени богатства. Фальшивый аристократ, обладатель 2520 пунктов, демонстрировал свое превосходство над нуворишем, который отставал всего на сотню пунктов. Котировки колебались, как на бирже. И, как на бирже, были в ходу виртуальные деньги. Случались, конечно, чудачки, вроде Владимира Сергеевича, Мясника и еще пары им подобных. Старые бродяги-маргиналы, с которыми даже в торг не вступишь. А раз они знали о существовании золотых монет, чеканенных еще в девятнадцатом веке, то почему дожили до седых волос с пустыми карманами? Бедолаги.

Отряды мятежников форсированными маршем двигались по линиям а, b и с. И неслучайно. Несмотря на эйфорию боя, никто не решился нападать непосредственно на королевском фланге. Кремлевские башни, всё отчетливее проступавшие из тумана, светло-сизые поутру, поражали своим величием, будили непреодолимый первобытный ужас... Одно дело — хором призывать к тому, чтобы изловить царя, другое — приблизиться к самым воротам царского дворца. Первый ударивший по ним рискует навлечь на себя и грядущие поколения страшную, неведомую кару. Чернь криком заглушала нараставший страх. Били барабаны, разрывали воздух татарские пищалки. Ничем больше, кроме этого шума, мятежники себя подбодрить не могли. У них ведь не было ни форменных мундиров, ни знамен. А белая пехота, вопреки ожиданиям, неподвижно стояла на исходных позициях. Кто знает: может, ее удерживал страх. Однако тишина на фронте всегда производит впечатление. Здесь, на ферзевом фланге эта тишина и эта неподвижность казались поистине зловещими.

Мертвая, обезоруживающая жара стояла и на втором фланге. На первый взгляд, ничего не происходило. Его величество царь Владимир I приказал коннице на первой линии перегруппироваться. Задача была так проста, что ее доверили самому глупому генералу (довольный собой, он вскоре, в час битвы, лишится командирской должности). Спешившиеся кирасиры лейбгвардии развернули ряды в колонне f. Они не спешили, поскольку путь был не нов. Половина из них при этом оставалась в укрытии. Несмотря на всё это, странные перегруппировки привлекли внимание предводителя мятежников. Склонившись над штабной картой, Мясник то и дело наводил бинокль на кремлевские башни. Собственной

интуиции он доверял больше, чем донесениям разведчиков. Интуиция же подсказывала, что неподвижность чревата неприятностями. Стихией Мясника была битва врукопашную, рубка, сеча, а если уж пальба, то в упор, с двух метров. В боевом хаосе, куда более подлинном, чем расклад флажков на карте, во внезапных атаках и молниеносных отступлениях, в движениях не заученных, но по-звериному совершенных — проявлялась необузданная сила Мясника. Которая, однако, таяла и угасала в окопах войны позиционной, монотонной, усыпляющей и неясной в своем течении. Похоже, именно эта опасность теперь ему и грозила. Неподвижность — наверняка уловка умников, царских генералов, намеревающихся незаметно, исподтишка накрыть мятежников сетью. Нанесение предупреждающего удара было бы слишком рискованно, поскольку цепи пехотинцев уже двинулись по ферзевому флангу, а за ними стояла артиллерия. Придется выставить двойные караулы, проверять их всю ночь и ждать.

Около четырех утра, в час взломщиков и полицейских, предводитель мятежников один обходил выставленные посты. Под прикрытием плаща и темноты он был еще менее замечен, чем обычно. Часовые пытались укрыться от ветра в маленьких будках. Лишь некоторые делили полудрему с голой землей; при звуке приближающихся шагов резко вскакивали. Стояла тишина. Сверху солдат словно накрыло пологом бескрайней палатки — ультрамариновой и недоброй. Зато понизу, связуя всех и вся, разносился уютный аромат махорки, самогона и мочи. Вместо того чтобы глядеть в непроницаемое небо, Мясник впитывал эти успокаивающие запахи. Может, опасность, нагнетаемая предчувствиями, ему лишь привиделась? Он продолжал ждать, обуздывая свою порывистую натуру.

Царь Владимир I на мгновение отвлекся от Мясника с его печалью. Перед ним сидели игроки — два извивающихся ряда столов и стульев. Опускающийся полумрак (здесь тоже сэкономили электроэнергию) искажал фигуры самых дальних. Силуэты то и дело смазывались замедленными хаотичными движениями. Владимиру Сергеевичу вовсе не хотелось, чтобы в зале поскорее вспыхнул свет. В полумраке легче было связать это место с утраченным прошлым. Окружающие фигуры могли и не быть столь незнакомыми, как ему показалось сперва. Столь неожиданный прилив ратной энергии заставил его вспомнить юность. Ведь Мясник, склонившийся над доской, беззвучно скликающий своих разбежавшихся по полю солдат, — всё тот же, наводивший на него в молодости ужас, убийца с детским морщинистым лицом. Мир не изменился. Всё те же ощущения,

замешанные попеременно на неуверенности, страхе, надежде и жажде крови. Поразительные фейерверки мысли и аберрации памяти. Секунды триумфа, пересыпанные пылью. Бездна эмоций. Бесперывное, хоть и незаметное для чужих глаз движение. Ощущение скорости. Безумная, как в детстве, гонка по ухабам. Ничего дурного ни с кем из них не случится — замурзанные, они целыми и невредимыми благополучно вернутся домой. Лишь годы спустя кто-то из них вдруг застынет на асфальте маслянистым пятном, незримым в лучах солнца.

Третий батальон славного Семеновского полка форсированным маршем вышел навстречу мятежникам. Разведка боем, а этот термин редко сулит добро. Пока гренадеры цепью двигались через густую рощу, всё было ничего. Лишь пройдя еще километр, они убедились, что тонкая нитка, обозначенная на карте буквой «h», представляет собой голую равнину. Пока что их мундиры еще сливались с темной зеленью, но потом, на серой запыленной дороге, могли стать отличной мишенью. Гренадеры инстинктивно замедлили шаг, зная, что еще мгновение — и их можно будет разгромить одним метким пушечным выстрелом. Только полтора десятка ветеранов наполеоновских войн хранили спокойствие. Мятежники не выставят старую гвардию и не пошлют в бой ловких мамелюков; это не более чем обычный сброд. Но остальные пехотинцы не могли знать, кого они обнаружат за фортификациями врага, если вообще туда доберутся. Впереди отряда, в дозоре, бежал маленький барабанщик, все быстрее взмахивая палочками: грозное выражение лица, пересохшее горло, колотящееся сердце.

Удивительно, но они вовсе не шли на верную гибель; их час еще не пробил. Спасало именно то, что они были как на ладони.

— Ну что ж, гость в дом, Бог в дом, — сказал предводитель мятежников при виде семеновцев, достигших опушки. Тихая липкая сладость его голоса обманула командира конницы, поспешившего отдать приказ: готовься к бою! Мяснику пришлось крикнуть, что его неправильно поняли. Это всего лишь блеф. Не стоит тратить силы на горсточку пехотинцев, выставленных для приманки. Подождем, что будет дальше. А пока пошлем подкрепление на ферзевый фланг.

Совершая последнюю перегруппировку, Владимир Сергеевич то и дело исподлобья поглядывал на Мясника. Он был уверен, что тот наконец почуял опасность, но предвидеть не означает предотвратить. Голова Мясника, непропорционально большая по сравнению с хилым торсом, торчала у Володи перед самым

носом. Она напоминала сплюснутый глобус. Шишки на лбу и затылке зрительно еще более удлинляли череп, сплетались с сетью нежно-голубых дорожек. Интересно, что же пульсирует под этой диковинной черепушкой. Вероятно, тоже выпуклости, так называемые извилины. Борозды и расселины, похожие на те, которые мы обнаруживаем, бродя по матушке-земле. Тайнственное белое вещество, открывающее путь ассоциациям. И дорога эмоций, определяемая как восходящая. Через эти тайные борозды и расселины с их резкими поворотами и продирается теперь Мясник со своими мыслями и чувствами. Их невозможно передать словами; впрочем, праздные и заплутавшие в лабиринте, они все равно утратили смысл. Поздно. Пахнет кровью. Кони рвутся в галоп.

Мятеж задушили прежде, чем успело вспыхнуть его темное пламя. Из-за кремлевских укреплений с ошеломляющей скоростью выскочила кавалерия. Сперва Глуховский полк появился в квадрате g5. Атакованный с линии h пехотой, он, к изумлению мятежников, не отступил, а словно бы добровольно дал себя растерзать. Но едва он потонул под штыками, его место тут же заняли семеновцы, так недавно и так легкомысленно выпущенные из виду. За ними главный царский отряд, называемый Ферзевым, а сразу после — отборная конница Астраханского полка. Золотистые шлемы, эполеты и чепраки таяли в лучах ослепительного солнца, кирасиры практически незамеченными промчались по холму g4. Когда они добрались до квадрата f6, повторился эпизод с Глуховским полком. Конница исчезла в дыму и пыли, а едва облако рассеялось, перед мятежниками снова предстали проклятые семеновцы. Выход из котловины был заблокирован, царская пехота железной рукой усмирила врага. По открытой колонне «h» уже неотвратимо подтягивался Ферзевый отряд, а за ним эскадроны тяжелой кавалерии.

Лишь теперь предводитель мятежников понял, что материальное преимущество, столь подозрительно легко полученное, никак ему не пригодится. Основные силы, легкомысленно высланные на ферзевый фланг вслед за пехотой, увязли где-то далеко, между Борисовым и Тарутиным. Даже если бы удалось каким-то волшебным образом извлечь их оттуда, им не пробраться по сельским дорогам, после боя заваленным и перепаханным. Вокруг главной квартиры зияла пустота. Оборона пала. По деревне толпой бежали пехотинцы Семеновского. Они вслепую обстреливали окна хат, обитатели которых, похоже, забаррикадировались там с недобрыми намерениями и чувствуя свою вину. Кирасиры били плашмя саблями

пробиравшихся к домам селянок, перепуганных раскудахтавшихся насекомых: будут знать, как кормить да поить преступников! Из всех закоулков, из сараев, с чердаков, даже из сортиров вытаскивали мятежников, надеявшихся обмануть судьбу и милостивого царя. Они молили о пощаде, их резали с ощущением справедливости, без особого гнева. Кое-кто держался до конца. Погибал под штыками и саблями без единого стога. Ведь их предупреждали, чтобы не кощунствовали по отношению к Его Величеству. Не послушались — теперь жизнью расплачиваются за страшный грех.

Предводитель мятежников вышел на последний бой, размахивая длинным узким обломком бесполезной теперь стали. На лице его играла ироническая улыбочка. Он не боялся смерти, этой рассеянной военной товарки. Он панически боялся, что его возьмут живьем, в клетке повезут в Москву и станут долго пытаться перед смертью, как в свое время Стеньку Разина. Тупая жадная морда первого из напавших всадников пробудила в нем надежду. Он рванул на груди рубаху. — Чего ждешь, сволочь — бей, да бей же, наконец! — крикнул он кирасиру. Того не надо было просить дважды. Врага велели брать живым, но ведь не ради этого он старался. Такая удача выпадает только раз. Кирасир слегка привстал в стремях, чтобы в следующий миг резко податься вперед. Сабельный удар был нанесен небрежно, едва заметно. Потная башка мятежника отвалилась от туловища, покатила по земле, словно расколотый во время учений арбуз.

— Хуйня, — прохрипел Мясник, расшвыривая фигуры с такой злостью, что несколько штук даже скатилось на пол. Он протянул Володе руку — не в знак того, что сдается (Мясник никогда не сдавался), но подтверждая проигрыш. Размашистой неразборчивой закорючкой расписался на бланке. Еще раз громко и грубо выругался. Владимир смутился, зная, что это не в характере Мясника. Салажата за столиком номер девять, веселые и счастливые, ни о чем не подозревая, на мгновение отвлеклись от игры. Прибежал судья, в далеком прошлом, будучи игроком второй категории, не раз битый Мясником. Подвернулся случай отомстить за давние унижения. Но тут же отступил. Достаточно было взглянуть на Мясника: расхристанная рубаха, мокрая от пота голова, землистая угреватая кожа, безумные глаза. Лучше не вмешиваться.

Обеспокоенные взгляды Владимира и судьи встречаются. Слившись, они рожают образ послезавтрашнего дня. Один из них знает, а другой догадывается, что Мясник с незапамятных

времен живет один. Полбеда, если ему станет плохо в будни — тогда можно добраться до соседей. Но обычно такое случается в субботу, когда люди бегут от жары за город. Чувствуя, как в голову словно вонзается раскаленное железо, обитатель семнадцатой квартиры из последних сил выползает в коридор. Хочет кричать, но не может. Лишь через пятнадцать минут кто-то наконец спотыкается о лежащего; «скорая помощь» прибывает еще через полчаса. Больница переполнена, так что Мясника тюфяком сбрасывают на койку в коридоре. Лучшего он, впрочем, похоже, не заслуживает. Едва облаченный в пижаму, тут же обделывается. В полубессознательном состоянии вырывается из рук санитарки. Мечется, от кого-то убегает. Санитарке и медсестре никак не удается совладать с чертовым старым хрычом. Во время этой борьбы появляется охранник, еще два года назад гордость центрального ОМОНа, теперь, увы, разжалованный в больничные сторожа. Он закуривает, внимательно рассматривает человека в обгаженной пижаме, удивляется долготерпению коллег. Дай ему, Степе, волю, он бы управился в пять минут, без звука. Охранник подходит и угрожающе потрясает спинкой кровати:

— Старик, кончай вертеться, что ты, как говно в проруби?

— Степа, Степа, так нельзя, ну что ты, — укоризненно бормочет санитарка. Но ее восхищенный взгляд говорит другое. Мгновенное озарение среди грязной работы: мужчина, писанный красавец, здоровяк, да еще и юморист. И сразу оценивающий взгляд на больного: к счастью, это не продлится дольше двух-трех дней.

Так ли? Но пока что Мясник, ослабевший после шахматной лихорадки, но всё еще на ногах, побежденный, но несокрушимый, бормоча ругательства, покидает клуб. Мгновение поколебавшись, Владимир Сергеевич решает составить ему компанию. Должно быть, выглядели они комично. Санчо Панса, Геракл, богатырь, на полшага позади Дон Кихота, мелкого от природы, усохшего от несчастий. Пансе-Володе передалось дурное настроение Дона Маэстро. Он сочувствовал Мяснику, но что было поделать? Не скажешь же, что, мол, это не стоит его нервов. Тот ведь не поверит, как не верит и сам Володя.

На помощь им пришел неписанный фамильярный закон, который разрешает побежденному поносить коллегу-победителя. Ведь случается, что глубокая мысль наталкивается на сопротивление материи — хилой и пошлой. Глупая случайность не позволяет орлу вознестись ввысь, оригинальная идея тонет среди коварных разливов и болот. Это

и произошло сегодня с Мясником, да еще в поединке с этим вот... (презрительный взгляд через плечо). Кабы не эти детские выходки с упрятанной за холмы конницей (трусы всегда отсиживаются по углам), кабы не бесконечная скука ожидания, он бы опрокинул Володю одним пальцем (жилистая рука Мясника приблизилась к торсу Владимира Сергеевича и тут же отстранилась: не стоит и касаться этой тушенки, противно).

— Кстати, это ведь наверняка уже миллион раз играли? Какая-нибудь давняя выдумка? — к презрению в голосе Мясника примешивалось запоздалое любопытство.

— Да, давняя. Вроде бы ничего особенного, но... — подтвердил Владимир.

— Так я и думал, — скривился Мясник. Он отвернулся и внимательно, недобро оглядел Володю с головы до ног. — Креста на таких нет. Даже в России стало невозможно играть в настоящие шахматы, конец света.

Владимир топал за своим партнером покорный и немного пристыженный. Вместо того чтобы наслаждаться победой над Мясником, он беспокоился, что осквернил и замусорил столь творческий разум старыми турнирными архивами. Его не отпускало своеобразное чувство вины. Залученному в ловушку Мяснику казалось, что он играет с судьбой, в то время как всё было предрешено. Но во время игры об этом не скажешь, а теперь ничего не поправишь. Володя объяснял себе, что, будучи гонцом и исполнителем царского приказа, он просто оказался в роковом для Мясника месте и времени. Иначе быть не могло. Ведь распоряжение было отдано раньше, чем исполнено, выше, непреложно и беспощадно. А кто накладывает приговоренному повязку на глаза, в сущности уже все равно.

Они миновали низкую арку, пересекли двор и совершенно неожиданно для Володи оказались на углу Невского проспекта. Проводник указал дорогу на вокзал и неожиданно, молча, пожал Владимиру руку.

— До свидания, — изумленный, едва успел пробормотать тот.

— Это только так говорится, — проскрипел Мясник. И моментально растаял в молочном супе, что уже многие века слышет украшением этого города. Владимир завертелся волчком, словно тщетно что-то искал. Шок внезапного расставания. Вот и всё?

И больше ничего? Невидимая нить, соединявшая двух прохожих, внезапно оборвалась. Еще мгновение назад Владимир Сергеевич разглядывал Мясника и по-своему, молча его поддерживал. Поэтому он пожалел, что нить оказалась столь тонка: ведь они наверное никогда больше не встретятся. Однако в следующую минуту раздражение пересилило. Старый чудак, и всегда Мясник такой был. Стоит ли удивляться, что он доживает свои дни один, как перст. Поставил ему мат — и хватит. Не стоило разговаривать, заглядывать в гноящиеся глазенки, вести дружескую беседу. Всё равно не оценит. А ведь... кроме Володи и еще пары ровесников мало кто его помнит. Мясника не станет, и никто этого не заметит. Даже пес не заскулит. Да и какой пес выдержал бы с Мясником...

Владимир Сергеевич по-прежнему шел очень медленно. Ускорил шаг, только когда вспомнил, что есть поезд в 22.11. Порыв внезапный и неожиданный, ведь можно было подождать шахматную братию. Но раздражение на Мясника проецировалось теперь и на других. Лучше вернуться одному, отдохнуть наконец от всей этой компании. Несмотря на поздний час, парит, в воздухе пахнет грозой. На перроне с обалдевшим видом мечется какой-то взлохмаченный гражданин. В поезд вскакивает, сразу за Володи, в последний момент.

— Ку-у-уда едем? — спрашивает он, с трудом выговаривая слова.

— Куда глаза глядят, — буркает в ответ Владимир, невежливо, но логично (всегда он путает логику с правдой жизни, ничего тут не попишешь). Лохматого ответ не удовлетворяет. Он продолжает расспрашивать других пассажиров. Добивается разрешения сего щекотливого вопроса, не сдается. Наконец кто-то, пожалев кудлатого, называет конечную станцию. Похоже, это плохая новость, потому что тот вдруг преисполняется обиды на мир и людей.

— Спра-а-ашивал ведь, спрашивал, а он... Эх, дурной, должно быть, человек! — палец лохматого грозно устремляется к Владимиру Сергеевичу, но сразу опускается: слишком велико его бремя, если пить сутки напролет. Одурманенный железнодорожным мраком пассажир грузно валится на пол в коридоре. Это никому не мешает, и ему любезно не мешают. Выходя на московский перрон, пассажиры один за другим переступят через лежащего. Сделают это привычно и без раздражения. Отдающее знакомым запахом, сладко убаюканное тело земляка — это, в конце концов, не чей-то

безымянный труп, который раз в несколько лет, в часы пик, случается, растаптывают на выходе с Белорусского вокзала.

Проблема в другом, нежеланном спутнике. Невероятно, но он снова пристал. Тень Мясника, серо-бурая и уродливая, вскарабкалась в вагон за Володи́ей, загородила вид за окном, ухватилась за оконную раму и прилипла намертво. Владимир Сергеевич пытался протестовать, но сдался. Что делать с назойливым нахалом? В этом упрямом насилии был весь Мясник. Утром казалось, что от него не осталось и воспоминания, а после обеда он как ни в чем не бывало появлялся в зале. Уходил внезапно, не прощаясь, и через пятнадцать минут снова возникал на поверхности, точно рулевая башня подводной лодки. Непрошенный эскорт.

— Понадобись мне в самом деле спутник, — снова разозлился Владимир, — чудак Мясник был бы, пожалуй, последним в очереди. Но решение принимал не он. Инициатива принадлежала Мяснику. По каким-то одному ему ведомым причинам он подозрительно присосался к Владимиру Сергеевичу. Ощущения были не из приятных.словно запах старого холостяцкого белья. Тень молчала, как прежде сам Мясник. Зачем, с какой целью? Владимиру Сергеевичу казалось, будто он вместе с Мясником оказался в океанической капсуле. В неудобной позе, мешая друг другу, колыхаемые волнами, они плывут куда-то к неведомым берегам. *Белеет парус одинокий...* Ну, не будем преувеличивать, это из другой оперы. Видно было плохо — Володя машинально протянул руку к окну. Протер стекло, но оно осталось матовым.

Сразу после приезда Владимира Сергеевича ждало ночное дежурство в школе. Впрочем, возможно, и не одно, поскольку в начале недели сменщик имел обыкновение запивать. Поэтому сперва нужно проверить, как дела у синиц. Какие семечки дала им Трофимовна — чищенные или нет? А, может, по глупости, опять угостила соленым салом? Если она зазеваается, они снова начнут барабанить по окнам, рассядутся на столе в беседке. Только бы, спасаясь от кота, не вломились в дом, не устроились внутри — потом черта с два выкуришь. А тут еще Марфа Петровна со своей гнилой крышей. Чтобы ее залатать, нужно карабкаться на самую верхушку. А как, интересно, он это сделает, если черепица напоминает рыбу чешую? И все же Владимир почувствовал прилив энергии. Он справится. После сегодняшней победы никакой труд его не страшил. Он вздохнул поглубже, потянулся.

И именно в этот момент в коридор ввалилась веселая компания. Верилось с трудом: тощий Васька, одноклассник, с

которым они сидели за одной партой — сто лет его не видел, а рядом сплошь шахматисты — Иван, что уехал в Америку на заработки, чудак Степулько, седовласый московский маэстро Чистяков, братья Дерезуцкие, даже Мишка Штейнберг, от которого давно не было ни слуху ни духу. Откуда они тут? Расплющивая носы о стекло, строят какие-то дурацкие рожи, толкаются, что-то кричат наперебой. Еще мгновение — дверь не выдержит, и они всем скопом вломятся в купе. Владимир Сергеевич решил вмешаться. Он встал, чтобы выйти в коридор. Задел сидевшую напротив женщину. Она громко вскрикнула, а он, вместо того чтобы извиниться, повалился всем телом на скамью, толкая и других пассажиров. Те шарахнулись в ужасе. Кто-то чертыхнулся, но тут же умолк. Грузное тело Владимира Сергеевича загородило проход и, казалось, росло на глазах.

Ситуация, согласитесь, неловкая. Попутчики застыли в ожидании — что же дальше. Если человек упал — значит, были на то причины. Позволит Господь — встанет. А не встанет — значит, так тому и быть. Из уважения к лежащему никто его не трогал. И все молчали. Тело лежало неподвижно, словно в незримой глубокой нише, погруженное в долгий сон. Времени и пространства в этих краях всегда хватало. Наконец через толпу зевак пробрался молодой мужчина в коричневом кожаном пиджаке.

— Положите его на землю, — сказал он. Люди сбросили кита, как было велено, а доктор присел над ним, желая убедиться. Движения его были умелы и профессиональны. За исключением последнего. Парень встал и беспомощно развел руками: «Всё».

На Гоголевском бульваре о случившемся узнали в понедельник, незадолго до начала очередного сеанса одновременной игры. Вахтерша Шура Николаевна залилась слезами. Ее утешали двое коллег. Один — сам в отчаянии, другой — нетерпеливо поглядывая на часы: еще минута этих стенаний, и турнир действительно задержится. Как быть? Директора сегодня не будет, выступать некому. Впрочем... произносить речь перед началом турнира? В зале почти сотня людей, ничего не будет слышно. Так, может, хоть почтить минутой молчания? Прежде чем успели выбрать подходящий вариант, один нетерпеливый шутник ударил в гонг вместо Шуры. Люди бросились к столикам. Удобно облокотившись о спинки стульев, подняли над досками ловкие ладони. Ритмичные, однообразные движения нескольких десятков туловищ — вперед-назад, вперед-назад — не требовали команды. На этом огромном корабле галерники вообще не нуждаются в командах, они сами

выбирают ритм и направление движения. По лицам видно, что каждый внутренне собран, стремясь проскользнуть над рифами и избежать ненавистного окончания.

Так это выглядит вблизи. Иначе — оттуда, где оказался ты. Сперва исчезают покрасневшие лица матросов. Стремительно уменьшаются склонившиеся над веслами головы. Затем смолкает доносящийся с палубы гомон. Стоило отдалиться от борта — и то, что казалось кораблем, предстает обычным потрепанным челном. Ведомый нервной рукой, рывками, он старается удержать направление, указанное на старых картах. Другой путь опасен, воды, говорят, поглотили многих. Панорамный план, взгляд сверху. Челн, хоть и неповоротливый, движется — вероятно, им по-прежнему управляют люди. До поры до времени. Скорлупка, еще мгновение назад различимая на темном графите воды, дрейфует к светлому туману. Силуэт ее тает, медленно растворяется в мглистой пене, после недолгой борьбы полностью погружается в нее. Исчезающая точка в незримом пространстве.

Не надо бояться. Опускается тишина, милосердной пеленой. Белым-бело.

1. Выделенное курсивом — по-русски в тексте. — Пер.

Богдан Задуря

СТИХИ

Отдел убийств работает круглосуточно

(из постмандельштамовских стихотворений)

Грохнуть ксендза, грохнуть панка и скинхеда

Ради троицы святой в порядке бреда

Грохнуть президента поскорее

Чтоб он наконец-то стал добрее

Грохнуть гея, лесбиянку, трансвестита

Нет их злей для человеческого быта

Грохнуть деда, грохнуть суку, где придется

Ты пойми, была б статья — вина найдется

Грохнуть тренера, арбитра и студента

И бездомного беднягу-абстинента

Грохнуть немца, грохнуть русского, как волка

Грохнуть чеха (никакого с чеха толку)

Придушить дворнягу и койота

Вегетарианца-идиота

Для спасения души — сжигаем тело

(вместе с гробом — чтоб оттуда не смердело)

Грохнуть вон того удалбанного лоха

Чтобы знал: самоубийство — это плохо

Грохнуть ту, что никогда с тобой не ляжет

И таксиста а потом — Алину с пляжа

Крыс и кошек перебить без перекура

Грохнуть Войцеха, Белова и Задуру
Грохнуть шлюху что святой когда-то будет
А до Рушди — просто руки не доходят

капля из крана
падает в рану
волосы ангелов
и стекловата
чьи-то колени
там где сад притих
свою голову месяц
опустил на них
чужие колени
а может свои
никогда не узнаешь
усни усни

Воскресные обеды

мой взрослый ребенок
не любит воскресных обедов
(что-то мне это напоминает)
каждую неделю за одним и тем же столом
говорят об одном и том же
о том что полезно
о плюсах овощей
приготовленных на пару
о чудесных качествах фасоли и помидоров

превосходстве брокколи над цветной капустой
мороженой моркови Hortex
над морковью Bonduelle
надеюсь что однажды
мой взрослый ребенок вырастет
еще больше и заметит что
так оно и бывает с людьми
когда они идут за грибами
говорят о грибах
когда они трахаются
говорят о сексе
когда они лежат в клинике
смотрят «Санта-Барбару»
когда они идут за гробом
говорят о смерти
так отчего же обедая
не поболтать о еде

эфирные тела
пещеристые тела
небесные тела
околоплодные воды
арктические воды
термальные воды
огни преисподней
огни святого Эльма

бенгальские огни

мышинный помет

коровье дерьмо

людские стихи

Именно то

Говорить кому-то то что на самом деле хочется сказать

и одновременно то что этот кто-то хочет услышать

это как выигрыш в лотерею. Бывало такое с нами?

Только где эта удача, номер которой мы обнаружили

среди счастливых внизу колонки как июньскую

землянику на поляне, фиолетовой из-за отцветшего

вереска, почти на опушке леса, куда она подевалась?

Спрашивать `об этом значит знать какая она на вкус

это страх перед тем, что на самом деле случилось.

Поэт говорит с народом

Пока нет лучших книг — меня читает двор

А. Мицкевич

Уже неделю он не разговаривает со своим сыном

(было бы у него больше детей

то уж если не с этим

наверняка разговаривал бы с другим)

Уже месяц он не разговаривает с тещей

(хорошо что у него их не две

поскольку не разговаривает он

лишь с одной)

Уже шесть месяцев он не разговаривает со своим
издателем

(издатель обанкротился и занялся
разведением павлинов и попугаев)
Могло быть и хуже
ведь дочери фрейлины все же в порядке
на молодежь вообще нет повода жаловаться
ксероксы работают директрисы домов культуры
улыбаются и шлют поцелуи
У него много времени
так что мог бы уже поговорить с народом
вот только народ должен
избрать какую-то делегацию
Или дирекция телевидения
должна этим заинтересоваться
Или нужно было бы взять каких-нибудь заложников
и требовать эфирное время
в качестве выкупа (время — деньги)
Но ведь кто-то же должен
отдать народу последние почести
Хоть он и не умеет играть на трубе
нет у него ни винтовки ни даже барабана
это его профессиональная обязанность
В конце концов это его старшие коллеги по перу
однажды сотворили
этот народ (и его, не считая биологических родителей)
Так кто как не он должен отдать ему
последний долг

(А ведь раньше казалось
что всегда будет наоборот)

Будапешт

помню

как ехал двойкой

от моста Свободы

к мосту Маргариты

сорокалетним

смотрел на людей

сидящих за белыми

столиками на белых

креслах

и думал

что там

настоящая жизнь

помню

как сидел

за белым столиком

на белом кресле

пил эспрессо

и ел мороженое

сорокалетний

смотрел на людей

едущих в трамвае

от моста Свободы

до моста Маргариты

и думал

что в том трамвае

настоящая жизнь

РИТМЫ МЕТАМОРФОЗ ПОЭЗИИ БОГДАНА ЗАДУРЫ

Богдан Задура, ровесник поколения «новой волны», связанный с люблинским журналом «Акцент» и уже несколько лет главный редактор журнала «Твурчость», любимец молодых (хотя и не только) поэтов, — это прежде всего человек, несущий ответственность за громадное количество новых решений в польской поэзии; особенно за введение в поэтический обиход разговорного, в самом широком смысле, языка. Это существенно раздвинуло границы поэтической речи, в которой теперь могут появляться рекламные слоганы, уличная атмосфера, остроумные приколы, едкие словечки, короче говоря — неслыханная энергия языка массовой культуры со всеми ее плюсами и минусами. Польский поэт Анджей Сосновский утверждает, что именно в умении улавливать разные пласты языка, из которых складывается действительность, и состоит феномен Задуры. В принципе, можно сказать, что автора «Птичьего гриппа» вдохновляет идея обновления и дальнейшей перестройки литературной традиции. Что интереснее всего, он сам в некоторой степени живое доказательство ее существования. Выступая в разных ролях: поэта, прозаика, очеркиста и критика, — он уже около сорока лет ведет двойную жизнь и как герой, и как активный наблюдатель польской литературной сцены.

В своих первых поэтических книгах, опубликованных в конце 1960-х, Задура показал себя чистокровным классицистом, любителем элегической, ностальгической ноты. В более поздних сборниках уже было больше насмешек, иронии и пародийности. К высокому напряжению, с самого начала пробегающему через всё творчество Задуры, можно было бы прибавить еще и формальные эксперименты со стихотворным текстом: от строгой дисциплины сонета до словесных перепалок, нарративных нагромождений и эпиграмматических редукций. Выбирая определенную форму, поэт тем самым подчеркивает объективистский характер стихотворения.

Когда он демонстрирует нам якобы развязную манеру речи, свободную и разговорную, мы можем многое узнать о конкретной концепции реальности. Речь идет, очевидно, о том,

что использование свободного стиха, нерифмованного, с импровизированной структурой, свидетельствует о том, как поэт видит мир: случайные события, без какой-либо сверхидеи, навязывающей иерархию и степени значимости. Самый лучший пример такого подхода — текст «Ночь поэтов (Варшава писателей)» из сборника «Кашель в июле» (2000), где нет деления на важное и неважное. А другая форма — густой замес слов, коротких фраз эпиграммы или рифмованных строф — подчеркивает лиризм, ностальгическую ауру, тоску по несбывшемуся («всегда грустим о том, чего не выбрали», из стихотворения «Хочешь ехать направо, сверни влево», сборник «Засвеченные снимки»). Разумеется, Задура совершает неожиданные поступки, решается на эксперименты и никогда не позволяет одной и той же форме застыть в том же самом эмоциональном состоянии, лучшим примером чего служит сборник «Могила крота», возвращающий в этом отношении утраченное. Если до выхода этой книги мы думали, что эпиграмма у поэта может подводить итоги существованию какого-то фрагмента этого мира, то в стихах из «Могила крота» она сделалась уж слишком открытой, чтобы быть каким-либо подытоживанием, забавной концовкой или финальным выкриком. И если рифмованные и крайне ритмизированные стихи в книгах, предшествующих «Могила крота», подкрепляли авторитет порядка и размера, потому что чаще всего рифмы и ритмический строй сопровождалась так называемыми классическими реквизитами, то даже такая разновидность текстов в этом сборнике потеряла свои былые характеристики, приобретая намного больше черт, дестабилизирующих видимость гармонии, внушаемую формальными принципами.

Примечательна и дистанция, усиливающая жанровые различия, которую Задура эффективно использует в своих книгах, размещая рядом с поэмами, фабульно близкими прозе, лирические стихотворения, соблазняющие читателей личными откровениями, а также что-то вроде острот, брошенных как бы мимоходом. Этот вид напряжения сохраняется и между сборниками «Пленник и фарс» с его барочно-классицистическими стилизациями, «Кашель в июле», где доминируют короткие, цельные интеллектуально-артистические формы, и повествовательной сосредоточенностью «Поэм».

Ритм метаморфоз поэзии Задуры носит, кажется, волнообразный характер, и если бы кто-нибудь зафиксировал его между двумя полюсами, определенными, с одной стороны, строгими композициями, а с другой — ослаблением

формального порядка, то был бы во многом прав. Со второй половины 70-х Задура выступает прежде всего как сторонник «нормального» отношения к поэзии — не как к значительной и торжественной речи, морализаторской, полной поучений и дидактики, но как к такой, которая могла бы конкурировать с другими разновидностями языка. В очерке «Дай ему там, где его нет, или Чужие языки поэзии» он пишет о серьезном восприятии читателя, пользуясь спортивной формулировкой: «...чем крученее мяч, чем изящнее он летит, тем приятнее его перехватывать».

Поэзия Задуры — и в этом я вижу ее привлекательность — дает в итоге шанс на переосмысление некоторых вопросов, которые одинаково характерны как для писательского замысла поэта, так и для проблем модернистской поэзии. Интересными как следствие представляются в творчестве этого поэта связующие нити между языком «современности» и языками, стилизованными под шифры прошлого; можно присмотреться также к соотношению между поп-культурой рекламы и поэтическим стилем, предлагающим декоративную метафорику и образность. Интересно также наблюдать, как сентиментальные воспоминания и желание зафиксировать себя в прошлом соревнуются в стихах с насмешливым вызовом, брошенным поэтическим концепциям, которые пытаются убедить нас, что поэзия обладает спасительной силой. Новая книга Задуры «Всё» (2008) мощнейшим образом концентрируется на проблемах современной жизни и показывает силу литературных проектов, подвергающих сомнению свой собственный базис.

ЗАСЛУГИ И ГРЕХИ ПАРТИЗАН

Всех предателей, находившихся на службе у немцев, можно разделить на две категории. Первая, самая незначительная, но исключительно вредная категория — это предатели, которые пошли на службу к немцам вполне добровольно из-за ненависти к советскому строю. Вторая категория, представляющая особо огромное большинство — это люди, служившие у немцев из-за трусости, потери веры в победу Красной армии, из-за желания спастись от посылки в Германию.

Из инструкции УШПД

об оперативном использовании бывших коллаборационистов,

13 апреля 1943

Несмотря на то, что в условиях глобального распространения конфликтов слабой интенсивности опыт советской партизанской войны 1941–1944 гг. становится всё более актуальным и востребованным, достойных обобщающих работ по данной теме не так уж и много.

До 1991 г. архивы СССР были закрыты, но и временная демократизация также не привела к освещению этой страницы II Мировой войны российскими учёными. Часть историков публикуют свои книги без ссылок на документы, в монографиях других специалистов научность ограничивается формой.

К прискорбию, белорусская историография проблемы отсутствует. За последние двадцать лет уроженцы «партизанской республики» (БССР) не опубликовали по указанному вопросу ничего.

Поэтому появление книги известного польско-германского историка Богдана Мусяла можно только приветствовать. Работа называется «Советские партизаны» и носит скромный и изящный подзаголовок «Мифы и реальность». В монографии использованы материалы на пяти языках из двадцати

архивохранилищ Белоруссии, России, Польши, Литвы, Украины, США, Израиля и Германии, а также интервью с участниками и свидетелями событий.

Задачей работы было создание многомерной и комплексной картины советской зафронтовой борьбы на примере сравнительно небольшой Белоруссии. Партизаны, воевавшие на оккупированных просторах России, Украины, Прибалтики, Карелии и Молдавии, упоминаются мимоходом — значит, название книги некорректно.

Несмотря на некоторую скомканность повествования, в целом поставленная во введении цель достигнута. В силу массива задействованных источников книга заслуживает перевода на иностранные языки, прежде всего польский, английский и русский, и публикации в Нью-Йорке в научном, а в Варшаве и Москве в крупных коммерческих издательствах. Вероятно, монография обратит на себя внимание не только специалистов, но и широких кругов досужих любителей истории.

Поэтому в рецензии имеет смысл обратить внимание как на конкретные недоработки книги, так и на спорные тезисы и дискуссионные обобщения. Условно разделим критику на две составляющие: во-первых, описание объективных недочётов, во-вторых — тех фрагментов, которые не являются ошибкой, но, с субъективной точки зрения автора этих строк, могли бы быть написаны по-другому. Из подобной трактовки будет ясно и содержание работы.

Сразу же бросается в глаза невысокий психологизм повествования: в работе сотни имен, но нет людей. Даже контурами не прописаны характеры тех, от кого в значительной мере зависел успех партизанской борьбы, — вожakov крупных соединений, начальников ЦШПД и БШПД. Хотя сам Мусял в своё время получил докторскую степень за диссертацию, построенную как раз на анализе и сопоставлении десятков биографий, прорисовке индивидуальных особенностей актеров исторической сцены, точнее — немецких организаторов геноцида.

В рецензируемой монографии наблюдается явный переизбыток повторов. Вот только три примера. Едва ли не через страницу упоминаются партизанские приписки (жарг. — туфта) в оперативных отчетах, приводятся сведения партизан, снабженные однотипным комментарием: «данные преувеличены». В подобных ситуациях можно было бы и не публиковать эту насквозь лживую информацию, а о потерях

немецкой стороны судить по менее сфальсифицированной в данном случае немецкой же документации. Партизанский разбой, расстрелы мирного населения, насилие над колхозниками и колхозницами, огнестрельные внутренние конфликты, пьяные дебоши, драки и оргии проходят ненавязчивым рефреном сквозь всё повествование. Плюс к тому указанным проблемам посвящены отдельные главы. Столь же часто тематизируется и истребление нацистами мирных крестьян, проходящих в статистике Вермахта и СС под названием «бандпособники». Но это же широко известная практика, описанная многими исследователями, а также нашедшая свое место в художественной литературе.

При этом при работе с источниками не всегда проявляется достаточная критичность.

Например, упомянутые уничтоженные «бандиты и бандпособники» в книге обычно механически трансформируются в убитых гражданских лиц, без учета банального очковтирательства, которым была глубоко поражена нацистская система администрирования.

Весьма сомнительным выглядит и сюжет о сознательной вербовке нацистскими спецслужбами евреев для проведения терактов и шпионажа. Правда, при публикации большинства партизанских сообщений об этом «феномене» в книге оговаривается, что неясно, насколько эти сведения достоверны. Но один случай все же вызывает авторское доверие, причем на основании показаний самого бывшего агента, данных советским органам. Однако от подследственного на допросе как раз и следует ожидать всяческих оправданий. Поэтому выдумка о том, что немцы склонили его к сотрудничеству, используя сведения о еврейском происхождении, была бы с его стороны вполне адекватным шагом. Да и какой оперативник будет вербовать для спецзаданий человека, уверенного в том, что его, а при случае и его родственников в ближайшее время уничтожит вербуемая сторона?

Стройность повествования в ряде случаев не соблюдена, причем это касается как работы с цифрами, так и социального анализа.

Например, делается вывод о том, что официальные советские цифры, основанные на партизанских донесениях, преувеличивают количество убитых «народными мстителями» немцев в 67–78 раз. Во-первых, использованные в книге данные партизанских победных сводок включают в

себя не только немцев, но вообще «оккупантов», то есть многочисленных немецких союзников и коллаборационистов. Во-вторых, в этих оперативных отчетах речь идет не о безвозвратных потерях противника, а об убитых и раненых. Таким образом, бахвальство советских партизан из-за методологических ошибок при подсчете в книге еще и преувеличено.

В отборе материала для публикации порой видны определенные перекосы. В частности, первая часть четвертой главы названа «Военная разведка для Красной армии», а речь здесь идет о недостатках сообщений ЦШПД для РККА. То есть здесь нет сведений о структуре партизанской разведки, войсковой разведке соединений «народных мстителей», принципах вербовки агентуры, количестве информации, переданной в Центр. Плюс к тому, нет сведений о разведке, которую партизаны вели не для Красной армии, а в интересах собственных отрядов и соединений.

В книге наличествуют и другие пробелы.

Например, не рассмотрена партизанская агитация, хотя в ЦШПД наличествовал отдел пропаганды. Но куда важнее то, что упущен целый пласт — зафронтовая деятельность органов госбезопасности. Даже вскользь не упоминаются спецгруппы НКВД (с апреля 1943 г. — НКГБ) БССР. Да и формированиям «легендарного» 4-го управления НКВД-НКГБ СССР посвящено всего две страницы, на которых описываются исключительно пьянки и склоки. О целях и методах указанных подразделений ничего не рассказывается, а группы НКВД именуются диверсионными. Столь грубая ошибка вызвана изъянами в историографической базе исследования. И в документах партизан, подотчетных ЦШПД, и во внутренней документации лубянского ведомства внятно разделялись «задачи по „Д“» (диверсии), и «задачи по „Т“» (терроризм). Да и вывод о приоритетах «четверки» лежит на поверхности, стоит только вспомнить имя ее начальника — Павла Судоплатова, признанного мастера заказных убийств.

В книге чувствуется недостаток компаративистики. К чему это может привести, показывает глава VIII — «К социальной истории партизанского движения в Белоруссии». Большая часть текста посвящена той кипучей партизанской жизнедеятельности, о которой советская историография охотно молчала: дерзкие выходки, «удалые» проделки, разгульные вечеринки. При этом в главе содержится раздел «Суровость партизанской жизни». Таким образом, неискушенный читатель может сделать вывод, что давление

тяжелых обстоятельств вынуждало «народных мстителей» к неистовой разнузданности, а пребывание под небом голубым кого угодно превратит в бескомпромиссных гедонистов. Хуже того, один из разделов, где описывается очередная феерическая вакханалия, заканчивается ремаркой, делающей бессмысленной всю главу: «Это была война». Армия Крайова в 1943–1944 гг. в Белоруссии воевала в тех же самых условиях, что и красные. А вели себя бойцы и командиры АК куда сдержаннее, что объясняется целым комплексом причин. Судя по сноскам, автор работал с большим количеством литературы об АК, а также с массой внутренней документации ее формирований, то есть различий с советскими партизанами не заметить не мог, но почему-то не рассказал о них читателю.

А по объему работа внушительна: только повествование, без ссылок и приложений, занимает 440 страниц весьма убористого шрифта. К сожалению, текст довольно сложен для восприятия. С одной стороны, он явно перегружен датами, деталями, мелочами, числами: нередко на одной странице нагромождены десятки цифр, лишь иногда сведенных в таблицы. В издании нет графиков, диаграмм, схем. С другой стороны, в монографии не так много концептуальных конструкций, облегчающих понимание многосложного исторического процесса, то есть маловато обобщений и объяснений как таковых. В частности, маленькое заключение является собой в основном не новые выводы, а краткое содержание (дайджест) книги, более того, частично повторяет введение.

Не все высказанные в «Эпилоге» оценки кажутся полностью обоснованными. Конкретнее, утверждение о плохой разведке партизан, проводившейся ими для Красной армии, выглядит слишком простым в свете того факта, что в монографии сколько-нибудь подробно рассматриваются только партизаны ЦШПД-БШПД. Но кроме ЦШПД разведдеятельностью в тылу Вермахта в Белоруссии занимались отряды, группы и агентура 4-го управления НКВД-НКГБ СССР, 4-го управления НКВД-НКГБ БССР, а также ГРУ—РУ ГШ КА. Указанные ведомства специализировались на агентурной работе. И качество, а иногда и количество разведданных, поставляемых в Центр от агентурных сетей этих организаций, существенно превышало показатели ЦШПД.

Как военно-историческое исследование книга выдерживает средний уровень. Боевым действиям и диверсиям уделено достаточно места, но рельефным их описание назвать нельзя. В книге всего один раз встречается указание на просчет, и совсем

нет упоминания грамотных и оригинальных тактических решений при проведении даже крупных боевых операций, нет примеров красивых агентурных комбинаций той или другой стороны, ТТХ применявшегося оружия. То есть работа скорее относится к разряду советологии.

Да и в изучении соответствующего сегмента советского общества и государства есть достижения, но прорывов публикация не сделала. В частности, хронически переоценивается идейность забитых сталинских подданных, к 1941 г. в целом уже деидеологизированных.

Например, неправомерные акценты можно увидеть и в описании основных противников партизан — полицейских и других «предателей». По утверждению Мусяла, «мотивов этой поддержки [оккупантов] не требуется долго искать. Они в первую очередь заключались в том, чтобы рассчитаться с ненавистным советским режимом...». Как ни странно (а может быть, вполне закономерно), советская историография давала более верное обобщение в этом случае. Родные коллаборационисты метко именовались шкурниками. Именно бывший «партсовактив», кандидаты в члены партии и коммунисты, комсомольцы, госслужащие, аппаратчики, силовики разных ведомств и учреждений были костяком, т.е. структурообразующей социальной прослойкой в общей массе людей, воевавших на стороне немцев или тянувших лямку на хозяйственном фронте. Можно было бы привести тому подлинные доказательства 1941–1944 гг., но ограничимся поздним, зато более ярким свидетельством. Ленинградский диссидент Михаил Хейфец вынужденно провел несколько лет под одной крышей с ветеранами II Мировой войны. И о бандеровцах, ярых националистах, в своих мемуарах он отзывался с уважением. А вот полицейские представлены в его воспоминаниях какими-то големами, безвольными андроидами, чем-то вроде членов фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ: «Экс-каратели и экс-старосты иногда были вовсе не плохими от природы людьми, и добрыми иногда — но они все, почти без исключения, казались мне морально сломленными, причем не зоной или войной, а еще раньше, почти изначально. Они казались нормальными советскими людьми, то есть слугами власти, любой власти — что гитлеровской, что советской, что польской, что, если появится, своей украинской. Часто это были просто человекообразные автоматы, роботы, запрограммированные на исполнение любого приказа — недаром среди самых кровавых гитлеровских убийц можно было обнаружить людей, которые после войны — до ареста — числились советскими

активистами и орденоносцами. Не буду притворяться, я иногда жалел их — хотя отлично понимал, сколько людей от них пострадало, скольких они убили (и среди них — моих земляков) — убили людей, мизинца которых не стоили. Честное слово, иногда казалось, что вины у них не больше, чем у овчарок, которые лаяли на заключенных концлагерей, — не больше они понимали, чем эти овчарки, и что, если посадить овчарку на 25 лет в тюрьму, какой в этом смысл?»

Bogdan Musial. Sowjetische Partisanen. Mythos und Wirklichkeit.
Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 2009. 590 S.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

• Осенью, как всегда, — урожай премий. Жюри «Нике» поразило всех своим решением. Лауреатом самой престижной польской литературной премии стал 47-летний Эугениуш Ткачишин-Дыцкий, автор «Песни о зависимостях и обусловленностях» («Бюро Литерацке», Вроцлав), единственного тома поэзии среди семи книг-финалистов. Проза и эссеистика проиграли.

«Поэтический голос Ткачишина-Дыцкого, пожалуй, самый оригинальный, наиболее узнаваемый во всей поэзии среднего и молодого поколения, — писал несколько лет назад Петр Матывецкий. — Этот поэт не похож ни на кого, он сам формирует для себя традицию, самостоятельно отыскивая образцы в старой лирике. И верит в неповторимость своих психических и экзистенциальных конструкторов».

Детство и молодость лауреат провел около Перемышля, родился в Вольке-Кровицкой возле Любачева. Он вырос на пограничье языков и культур — Украины и Польши.

— Поэзия Эугениуша Ткачишина-Дыцкого содержит различные литературные коды, но ни одним из этих кодов (типов высказывания) не исчерпываются ее значение и смыслы, — сказала председатель жюри «Нике» профессор Гражина Барковская. — Это автобиографическая поэзия, ибо в ней многое соотносится с фактами жизни автора (болезнь, смерть матери, гомоэротический опыт), но одновременно и стилизованная — под старину, барокко, мелодику Вийона, «посмертную маску».

Основная тема поэзии Ткачишина-Дыцкого — это смерть. Вторая — телесность и сексуальность, третья — жизнь пшемысльской провинции, соседские и семейные истории.

Мы все помним, как очень необычно читал свои стихи Иосиф Бродский. Русские поэты обычно огромное внимание уделяли способу декламации, польские — значительно реже. Ткачишин-Дыцкий относится к немногим исключениям. Он знает гипнотическую ситу речитатива, понимает, что голос поэта — это тоже материя поэзии. Он умело использует обертоны своего голоса, который, по мнению Матывецкого, заставляет вспомнить звучание старинной «колесной» лиры или монотонное движение смычка взад-вперед.

Русские переводы стихов Э.Ткачишина–Дыцкого см.: «Новая Польша», 2006, №1 (пер. Н.Горбаневской), «Иностранная литература», 2006, №8 (пер. Б.Дубина)

- По мнению читателей «Газеты wyborчей», премии «Нике» 2009 года наиболее достойна книга эссе «Гуляш из Туруля» (издательство «Чарне») Кшиштофа Варги, польского писателя с венгерскими корнями.

Варга «выслеживает» парадоксальное и абсурдное в венгерской жизни, ведет читателя по закоулкам и парадным аллеям Будапешта или Мишкольца, рассказывает об истории Венгрии. «Болезненное для венгров и захватывающее для поляков, эссе Кшиштофа Варги о ранах и героизме столь близкого и столь мало нам ведомого народа — это путь к пониманию венгров, которых мы любим — не зная их!» — написал о книге другой знаток венгерской проблематики, Тадеуш Ольшанский.

- В прошлом году «Читательская Нике» досталась Мариушу Щигелу, автору сборника репортажей «Готланд» о чехах и Чехословакии в XX веке. Книга переведена на восемь языков, в Чехии вышла пятью тиражами. 2 октября Щигел получил в Праге из рук министра иностранных дел Чешской Республики премию «Gratias Agit», присуждаемую «за заслуги в укреплении репутации чешского государства». Ранее ее лауреатами были, в частности, Милош Форман, Томаш Батя и Мадлен Олбрайт.

- Премия Костельских нынешнего года (для писателей в возрасте до 40 лет) досталась (частично) Тадеушу Домбровскому (его стихи напечатаны в предыдущем номере «Новой Польши»). Он получил ее за книгу стихов «Черный квадрат» (издательство «а5»). Лауреат, родившийся в 1979 году, — поэт, эссеист, критик и редактор выходящего шесть раз в год литературного журнала «Топос». Живет в Гданьске.

«Для Домбровского мир неустанно представляет повод рассмотреть какую-то „другую сторону“. Под подкладкой, под кожей, за занавесом и под волосами. И находит там вещи и в самом деле поразительные. А кроме того, он умеет прекрасно играть поэзией», — написал Тадеуш Нычек на страницах «Пшекруя».

Премия Костельских — старейшая независимая польская литературная награда. Ее присуждает Фонд имени Костельских, действующий с 1959 года в Женеве. Премией отмечено уже более 120 творцов.

- Второй раз присуждена Литературная премия столичного города Варшавы. Лауреатом стал Юзеф Хен, автор, в частности, книг воспоминаний «Не боюсь бессонных ночей» и «Новолипе» и биографического романа «Я, Мишель де Монтень». Хен награжден за совокупность литературного творчества.

В конце октября в книжных магазинах появилась новая книга Хена — «Дневник нового века» (издательство WAB). В ней писатель вновь возвращается к героям своих книг — Монтеню и Тадеушу Бою-Желенскому. Он рассказывает о рождении очередных произведений, а также о своих интересах и круге чтения, в который, в частности, входят Бертран Рассел, Генри Джеймс, Гомбрович, Герлинг-Грудзинский, Милош и Максим Горький.

- Главную премию нынешнего издательско-книготоргового сезона «IKAR 2009» получил Марек Кравчик, председатель правления Попечительского общества архива «Института литерацкого» в Парижа «за активность и креативность действий по сохранению и популяризации наследия Ежи Гедройца, „Культуры“ и „Института литерацкого“».

- С кратким визитом в Варшаве побывал Славомир Мрожек, живущий полтора последних года в Ницце. Утром 1 октября он встретился с журналистами на пресс-конференции в помещении издательства «Нуар сюр блан», а вечером появился в «Театре вВспулчесном», который отмечает свое 60 летие. На этой варшавской сцене было поставлено 11 пьес Мрожека, здесь же прошла знаменитая премьера «Танго» в 1965 году.

Поводом для обеих встреч было издание тома переписки Мрожека с Адамом Тарном, создателем и главным редактором журнала «Диалог», а также анонсирование публикации «Дневника» Мрожека. Это настоящая сенсация! Мрожек годами вел дневник, но скрывал это даже от ближайших друзей. Дневник, как стало известно, он писал преимущественно на польском языке, с фрагментами по-французски, по-английски и по-итальянски. В тетрадях и на отдельных листах.

- По словам редакторов, готовящих материал к печати, Мрожека можно справедливо назвать «мастером мемуаров», а его дневник приравнять к самым крупным явлениям этого жанра в нашей литературе.

«Это написано кровью и желчью, грустью и злостью. Беспокойными ночами и в счастливые дни, — отмечается в

издательском анонсе. — Ручкой и на машинке, в течение нескольких десятилетий. В тридцати с лишним городах и более чем в десятке стран трех континентов. Свыше трех тысяч рукописных и почти восемьсот машинописных страниц. „Дневник”, охватывающий целую эпоху, 1962–1989 годы, — это книга ожидаемая и чрезвычайно важная, которой недоставало среди изданных до сих пор произведений Славомира Мрожека. В „Дневнике”, встречаются имена известных фигур польской культуры того периода — Лема, Милоша, Еленского, Герлинга-Грудзинского, Блонского, Гердойца и Чапского, с которыми Мрожек встречался и переписывался. Но главный герой — Витольд Гомбрович».

«Дневник» Мрожека выйдет в двух томах в краковском «Выдавництве литерацком», по всей вероятности, к концу следующего года. Те, кто уже имел возможность познакомиться с текстом, заявляют, что это произведение ранга дневников Гомбровича.

• Автор «Транс-Атлантика» был невысокого мнения о музеях. В «Дневнике» он написал: «Музеи — это что-то архимертвое, порождающее головную боль». Так что неизвестно, был ли бы он доволен тем, что произошло. 11 октября в присутствии вдовы писателя Риты Гомбрович торжественно открыт первый в Польше музей Витольда Гомбровича — в деревне Всоля, в усадьбе, которая теперь стала филиалом варшавского Литературного музея имени Адама Мицкевича, а перед войной принадлежала Ежи Гомбровичу, брату писателя. Этот красивый и удобный дом в 80 км от столицы, построенный в 1914 году в стиле итальянского палаццо, был приданым жены Ежи (свадьба состоялась в 1926 году). Витольд Гомбрович часто приезжал сюда на все лето, играл в теннис, катался на лодке по реке Радомке и писал. Здесь были созданы значительная часть «Дневника периода возмужания» (1933) и роман «Фердидурка» (1937).

В музее представлены, в частности, фотографии и рукописи писателя, его личные вещи, в том числе галстуки, которые он получал от президента Польского банка в Буэнос-Айресе, трубки, трости, очки, вечная ручка, пишущая машинка, кресло, которое стояло в квартире в Вансе, и старый, потрепанный чемодан — писатель взял его с собою, когда на борту корабля «Храбрый» покинул Польшу в августе 1939 г., и этот чемодан сопровождал его все годы эмиграции.

• В ходе V Международного театрального фестиваля «Диалог» (Вроцлав, 10–17 октября), прошедшего под девизом «Вопреки злу», было показано пятнадцать спектаклей немецких,

литовских, российских, голландских, австрийских и даже южноафриканского и ливанского театров. Крупные имена — Кристоф Марталер, Дмитрий Крымов, Лев Эренбург, Иво ван Хове, Оскарас Коршуновас, Уильям Кентридж. Богатство форм — от кукольного театра до музыкального, даже чистая классика. Целых четыре спектакля было по Шекспиру, литовский театр привез «Идиота» Достоевского. Польский представляли своими новыми постановками Гжегож Яжина («Теорема» и «Между нами — все отлично» Дороты Масловской), Барбара Высоцкая («Каспар»), Цезарис Граузинис («Король Лир») и Ян Клята («Земля обетованная» по Реймонту).

Из России привезли два спектакля: магнитогорский драматический театр имени Пушкина показал «Грозу» Островского в постановке Льва Эренбурга, а московская «Школа драматического искусства» — «Orus №7» Дмитрия Крымова.

«Спектакль Эренбурга показывает, что можно и даже нужно делать театр, так сказать, в классическом издании, — написала о «Грозе» Эва Орчаковская. — Выразительное, даже школьное деление мизансцен, непритязательная сценография, народные костюмы — всё это лишь помогает ощутить специфическую атмосферу. На три часа мы можем забыть о постмодернизме и суровой театральной современности. „Welcome to Russia” должно быть написано на видном для всех зрителей месте».

«Orus №7», музыкально-словесно-визуальное сценическое действо, в своей первой части — «Генеалогия» — посвящено трагедии Катастрофы, это реквием по евреям Восточной Европы. Вторая часть — «Шостакович» — представляет миф, личность и историю великого композитора, которому пришлось творить и в сталинскую эпоху. «Первая часть ставит на колени, а вторая — только ее дальнее эхо», — так начинается рецензия Паулины Дреслерской. А заканчивается словами: «Дмитрий Крымов в „Orus’e №7” создал два отдельных театральных мира. В первом вознесся на вершины того, чем может быть театр. И этим заслужил наши рукоплескания».

Рецензент «Газеты выборчей» Иоанна Деркачев более скептична: «Импонирующий своим музыкально-пластическим решением, „Orus № 7” показывает зло (гибель евреев, трагедию Шостаковича) карикатурно, сентиментально и плоско». А спектакль Эренбурга оценила еще жестче: «Кто додумался пригласить на фестиваль генитально-желудочную „Грозу” по Островскому?»

- Победителем 25-го Варшавского кинофестиваля стал фильм «Лурд» австрийского режиссера Джессики Хаузнер. Без наград остались работы польских режиссеров, в том числе сенсационный фильм «Ничего личного» Уршулы Антоняк. Лишь «Реверс» Бориса Ланкоша (ранее награжденный «Золотыми львами» на 34-м фестивале польского художественного кино в Гдыне) был отмечен премией международной критики.

Два российских фильма — «Царь» Павла Лунгина, историческая фреска о временах тирании Ивана Грозного, и «Полторы комнаты» Андрея Хржановского — также не были отмечены жюри. Вторая картина — формально бравурный, вымышленный рассказ о возможном возвращении на родину Иосифа Бродского; по мнению одного из зрителей, это «фильм из тех, которые появляются раз в десятилетие. Очень личное и художественное повествование о России, вдохновленное жизнью Бродского, с прекрасными анимированными вставками. Класс!»

- Важная выставка в варшавском Центре современного искусства «Уяздовский замок» — «Схизма. Польское искусство 90-х годов». Название восходит к известному сборнику стихов Мартина Светлицкого, в котором поэт попытался начертить линию раздела между ПНР и Третьей Речью Посполитой. Куратор выставки Адам Мазур пытается ответить на вопрос, каким было польское искусство в первые десять лет свободы. Мы помним, что оно вызывало сильнейшие эмоции. Сегодня мы уже спокойнее, с возросшей дистанции смотрим на работы ведущих художников того времени — от Збигнева Либеры, Катажины Козыры и Артура Жмиевского, от Зигмунта Ритки, Ежи Трушковского, Зофьи Кулик — до Павла Альтхамера, Марка Киевского и Мирослава Балки. Однако стоит вспомнить тогдашние эмоции, страстные, стихийные дискуссии. Выставка будет открыта до 16 ноября.

- 51-й джазовый фестиваль «Jamboree» в нынешнем году растянут по времени. В октябре на открытии фестиваля Михал Урбаняк с приглашенными гостями представил концерт, посвященный Майлсу Дэвису — в связи с 50-летием его «Kind of Blue», самой известной и самой продаваемой пластинки в истории джаза. В ноябре звездой фестиваля будет Марианна Врублевская, одна из самых оригинальных вокалисток в истории польского джаза. Завершение «Jamboree» планируется на 13 декабря. В этот особый для поляков день состоится концерт «1999 — 2009. Яцек Качмарский в джазе». Музыканты

воздадут честь умершему пять лет назад легендарному барду «Солидарности».

Прощания

12 октября умер профессор Славомир Калембка — историк, историограф Великой эмиграции, в 1990–1993 годах ректор Торунского университета им. Коперника. Ему было 73 года.

Богатое научное наследие профессора Калембки охватывает несколько тематических областей. Главная — это история Великой эмиграции (после поражения восстания 1830 года). Вторая — это история Польши и всеобщая история XIX века, в особенности история Франции. Третья область — это история Торуня, Поморья, Восточной и Западной Пруссии в XIX веке. Библиография работ профессора Славомира Калембки насчитывает около 400 наименований. Наиболее известные — это «„Польское демократическое общество” в 1832–1846» (1966), «Весна народов в Европе» (1991), а также «Великая эмиграция. 1831–1863» (2003).

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Поразительно, сколь живо было встречено польское издание романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в переводе Ежи Чеха. Последний номер гданьского ежеквартального журнала «Пшеглэнд политичный» (№ 95/2009) посвятил блок материалов как самому изданию, так и истории книги и, конечно, личности автора. Переводчик романа в очерке «Репортаж из Атлантиды» написал:

«Переводя „Жизнь и судьбу“, я волновался, примет ли наш читатель этот почти девятисотстраничный роман, созданный пятьдесят лет назад и описывающий еще более ранние события, да вдобавок в другой стране, тоталитарной в такой степени, о которой мы в Польше имеем слабое понятие. Это уже, наверное, Атлантида в квадрате».

Автор очерка подробно рассказывает о жизненном и писательском пути Гроссмана, а в конце — и о судьбе «Жизни и судьбы»:

«Хотя роман „Правое дело“ вышел по-польски в 1957 г., из общедоступных справочников и учебников о нем мало что можно узнать, за исключением того, что он составляет дилогию с „Жизнью и судьбой“ и подвергся после публикации резкой критике. Последнее ничего не доказывает — критика могла обрушиться на любого; даже Александр Фадеев, главный литературный чиновник, должен был свою „Молодую гвардию“ срочно переработать, когда ему указали, что „недостаточно раскрыта руководящая роль партии“. Может создаться впечатление, что произведение не выходит за границы, обозначенные временем его создания, что это одна из многих книг „на тему войны“. Однако такое суждение будет несправедливым. Конечно, первая книга, в сравнении со второй, проигрывает; но если перечитать ее заново после „Жизни и судьбы“, мы без труда обнаружим главные достоинства прозы Гроссмана. В полном варианте „Сталинграда“ (так первоначально должен был называться роман) содержатся явные аллюзии на репрессии 30-х годов. Но и прошедшая сквозь цензуру редакция производит впечатление. Конечно, в то время существовали „разнарядки“ и „установки“, которые не могли не попасть в книгу, — но она

отличается от других, а читателей привлекла как раз тем, что разгневало ортодоксальных критиков. Те требовали социалистического реализма, а получили реализм. Цель автора была ясная, толстовская: показать историю одной семьи на фоне войны. Но даже сам выбор интеллигентской семьи Шапошниковых не отвечал постулатам пролетарской доктрины, хотя этот выбор легко объяснить. Гроссман всегда писал только о том, что хорошо знал. Действие его первого выдающегося произведения [рассказа „В городе Бердичеве”] разворачивается в его родном городе, в повести „Глюкауф” он описал хорошо ему известную шахту, в новелле „Цейлонский графит” — карандашную фабрику, в романе „Степан Кольчугин” — Донбасс, который хорошо знал и сам, и по рассказам отца. Он всегда заботился о подлинности реалий, что не могли не признать даже его противники. В романе ему была нужна хорошо известная среда и герои, которым он мог бы доверить собственные рассуждения; рабочий-сталевар, разговаривающий о квантовой физике, едва ли мог быть достоверен. А физика была нужна для запланированных суждений об эпохе масс. Alter ego писателя стал поэтому профессор Виктор Штурм; Ольга Гроссман была прототипом Людмилы Шапошниковой».

Далее Ежи Чех пишет:

«Десятилетняя работа над романом привела к такой переоценке ценностей, на которую до Гроссмана не отважился не один из живших в СССР писателей. Поэтому даже можно усомниться, насколько роман продолжает „Правое дело”. В отношении действия и персонажей — продолжает: в последней главе первой части комиссар Крымов переправляется в Сталинград, и там мы его встречаем во второй части, как сразу узнаём и дальнейшую судьбу большевика Мостовского. Однако в чем-то меняется художественный метод. Первая часть со своей неторопливой повествовательностью, конечно, раскрывается как новая „Война и мир”, а вторая апеллирует к Толстому уже своим названием. Но это ошибочная ассоциация. Толстовский здесь лишь размах — широта панорамы, число действующих лиц. Более точным было бы проследить журналистские корни — ведь литературное формирование Гроссмана пришлось на эру расцвета репортажа. Впрочем, „Жизнь и судьба” выходит по-польски без первой части, но ее можно читать и так, это даже придает книге своеобразную красоту и создает впечатление писательского приема. (...) Происходит радикальное изменение повествовательности, и автор уже иначе видит смысл сталинградского перелома. (...) Гроссман разделяет гордость граждан СССР победой, но

показывает ее двусмысленность. Победу одержало не тоталитарное государство, а народ — но для кого? Разве не для государства, чтобы оно могло снова подавлять свободу? Это окруженным и замерзающим немцам „звездное небо” напоминает в конце концов о морали. Порабощенные гитлеризмом, они начинают постепенно возвращаться к человечности. А у победителей государство заберет ту крупницу свободы, которую было вынуждено дать, взамен подсунув им шовинизм. Главы романа, посвященные немцам, казалось бы, должны противоречить нежеланию автора писать о том, чего он не знает доподлинно. Но эти главы — только зеркало, поставленное перед соотечественниками».

Гроссману и его роману посвятил также обширное эссе, названное «Сократ из Бердичева», Гжегож Пшебинда на страницах двухмесячника «**Нова Эуропа Всходня**» («Новая Восточная Европа», 2009, №5). После рассказа о начале творческого пути писателя автор очерка переходит к переломному моменту биографии Гроссмана:

«По-настоящему великим писателем будущий автор эпопеи „Жизнь и судьба” стал во время Великой Отечественной войны (1941-1945) — как чуткий репортер и глубокий мыслитель, широко известный в стране, а вскоре и за границей, благодаря главным образом потрясающему очерку „Треблинский ад” (1944). Он распространялся как обвинительный документ на Нюрнбергском процессе. Анджей Дравич написал в 1968 г. о „Треблинском аде”: „Вся мировая антифашистская литература, возможно, не знает произведения подобной силы, обусловленной святой верой гуманиста, который собственными глазами увидел, на что способны люди по отношению к людям”».

И далее:

«Во всей русской литературе XX века нет произведения, столь связанного с судьбами России, как динамичный, в соответствии с названием, роман „Всё течет”. (...) Гроссман писал его заведомо „в стол”, а особенно активно творил после рокового для него 1960 года, когда КГБ конфисковал у него рукопись эпопеи „Жизнь и судьба” (одного из главных европейских романов XX века). Уже заканчивая „Всё течет”, он признавался в одном из писем, что у него „стремление работать столь же непостижимо, как инстинкт жизни, столь же иррационально и непреодолимо”. (...) Украинцы по сей день должны быть благодарны Гроссману, что он, сам преследуемый в СССР, был, наверное, первым в мире писателем за пределами

их родины, потрясающе засвидетельствовавшим сталинское преступление против украинских крестьян».

Характеризуя позицию писателя, Пшебинда подчеркивает:

«Гроссмана часто критиковали за то, что в тысячелетней истории России он видел только воплощенное порабощение и, более того, утверждал, что это порабощение стало образцом для тоталитарных режимов на Западе (нацизма в Германии, фашизма в Италии). Гроссман, безусловно, едва ли положительно относился к „мистике русской души“, так как считал, что та происходит от тысячелетнего рабства. (...) Его часто упрекали, причем со святой уверенностью, что выступают в защиту демократических идеалов, в фатализме по отношению к России, неверии в возможность ее свободного развития — иного, чем за тысячу лет рабства. Но Гроссман полагал (и здесь уже без всяких ссылок на „русскую душу“), что на огромных пространствах меж Европой и Азией точно так же по-рабски творилась бы история других наций — „французов, немцев, итальянцев, англичан“, если бы они пустили свои корни „в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией“. Множество народов мира, как утверждает писатель, проходило в своей истории через „горечь русскорго пути“, даже не зная о существовании России. Это был их собственный путь несвободы, которую они во второй половине XX века полностью отвергли... Поэтому и Россия имела, на взгляд Гроссмана, такое же право на свободу, как и другие народы, которые недавно прошли путем от рабства к свободе: „Где пора русской свободной, человеческой душе? Да когда же наступит она? А может быть, и не будет ее, она никогда не настанет?“ Но фатализма здесь нет».

Далее следуют рассуждения на тему «Жизни и судьбы»:

«Широкая панорама стольких человеческих судеб создает огромные трудности при чтении, в особенности если кто-то захочет подробно проследить историю главных героев, повседневные события их жизни, круговорот их обыденных дел. (...) Гроссман не упрощает задачу читателю, потому что предшествующая судьба героев (людей разных национальностей, общественного положения и убеждений) представлена в первой части диалогии — в романе „За правое дело“. Теперь мы снова с ними встречаемся. (...) У Гроссмана есть трусы и оппортунисты, но есть и обычные люди, герои, старые и молодые коммунисты, „коминтерновцы“, „меньшевики“ и „эсеры“, отважные солдаты и сталинские комиссары на фронте, узники советских и гитлеровских лагерей, матери, потерявшие сыновей, и жены, сменившие

арестованных мужей на других. (...) Здесь физики и биологи, ленинцы, сталинисты и антисталинисты, люди всех национальностей, и у каждого „жизнь”, увы, predetermined фатальной, заглавной „судьбой”. (...) Что означает эта содержащаяся в самом названии гроссмановская антитеза — „жизнь и судьба”? Несомненно, что „судьба” — это Молох (гегелевский „Weltgeist” или марксистско-ленинская „классовая борьба”), который поглощает индивидуальную человеческую „жизнь”, то есть конкретную Личность. „Судьба” — это фатум, но одновременно, к несчастью, и творение людей, что воплощено как в фигурах тиранов XX века, так и в их слепых подручных; фатум, создаваемый покорностью и пассивностью целых народов или каждого отдельного человека. А „жизнь”, часто поработенная такой „судьбой”, бывает, однако, вдохновлена „свободой”. Это напоминает другую, известную по „Фаусту”, антиномию: „Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо”. Позиция Гроссмана, однако, более всего ассоциируется с героическим Сизифом, каким его видел Альбер Камю. Сам Гроссман, как и Камю, до конца жизни оставался героическим атеистом».

И в конце эссе читаем:

«Ключ к пониманию послания „Жизни и судьбы” находится в самой середине романа, во фрагменте о Добре, которое, вопреки своим намерениям, приводило в истории к страшному злу». И, возможно, именно эта фраза из эссе Гжегожа Пшебинды — самый лучший ответ на вопрос, который тревожит переводчика романа, размышляющего над тем, как современный польский читатель примет эту почти девятисотстраничную книгу, написанную более полувека назад и описывающую события еще более давние, да вдобавок в чужой стране. Что ж, польский читатель — это европейский читатель, а произведение Гроссмана, как и великое и литературно абсолютно совершенное творение Надежды Мандельштам (я имею в виду ее «Воспоминания» — несомненно, одну из монументальнейших книг XX века), говорит о судьбе России, то есть о судьбе Европы, — и я здесь слово «судьба» употребляю в том значении, которое придает ему Пшебинда в своем истолковании произведения Гроссмана.

Я, однако, читаю эту книгу и еще под одним углом зрения. Несмотря на то, что в ней показано человеческое рабство в России, во время чтения я не мог не отметить, что книга все же не лишена своеобразной гордости за свою страну в ее суверенности и мощи. Этим, наверное, заглушается боль порабощения. Но есть и «другая Европа», между могуществом

российской державы и Западом, представленная людьми, которые даже государственной суверенности столетиями не знали, подвергаясь всевозможным оккупациям — турецкой, или русской, или немецкой. В контексте таких рассуждений я с понятным вниманием вчитываюсь в слова выдающегося мыслителя Запада из рожденного еще в 90-е годы эссе «Европа: вызов для культуры». Жан-Мари Доменак пишет в нем:

«Когда я принялся за эту работу, распад советской империи только намечался. А затем события ускорились. В 1989 м в Польше, Венгрии и Чехословакии пришел конец однопартийной системы, в Берлине разрушили стену, в Румынии победило восстание общества против диктатуры. Таким путем Центральная Европа возвращается истории — и еще раз импульс к действию дали нам угнетенные народы. Процесс не завершен. Болезнь может захватить и саму Россию, которая, отвергнув империю, опирающуюся на давно уже похороненную марксистско-ленинскую идеологию, могла бы замкнуться в своих границах и попытаться, воспользовавшись международной разрядкой, восстановить свою мощь, передав страны-сателлиты заботливой опеке Запада».

Ну уж нет, не пожелаю этого ни себе, ни Западу, ни России. Не пожелаю ни оккупации, ни «заботливой опеки»! Я хочу, чтобы нас считали людьми, способными к осуществлению суверенных и свободных решений. О таких людях напоминает Гроссман, описывая смертельную схватку национал-социалистической Германии и коммунистической России, — и только такие люди возвратят истории тот смысл, который не низводит человеческую жизнь до судьбы.

ЗАЛОЖНИКИ, или БУБНОВЫЙ ТУЗ

В здании было два входа, наверняка и больше, но я знал только эти два.

Первый — парадный подъезд, внушительный, с огромным холлом, обычно почти пустым. Здесь сидели в мягких креслах, в расстегнутом пальто и с шапкой в руке, а иногда проходили по широким коридорам, выстланным коврами дорожками. И двери тут были не менее величественны, чем входные, — из дерева, покрытого шпоном, большие и массивные. По обеим сторонам холла стояло два красных металлических ящика, они были в несколько раз больше обычных почтовых, и туда следовало бросать заявления или письма, адресованные тем, чьи фамилии и должности были выведены на ящиках белой лаковой краской, каждое слово с большой буквы, а имя и фамилия — еще и более крупно.

Второй вход был со двора, с виду ничем не примечательного. Из арки нужно было повернуть направо, там находилось что-то вроде одноэтажной пристройки, как будто силком присобаченной к зданию. Это и была настоящая приемная, причем довольно большая, множество людей сидело здесь на скамьях вдоль стен, а некоторые даже приносили с собой книги. Посередине стояло два или три стола, на них писали заявления или заполняли бланки, которые можно было получить в окошке около двери, гораздо более узкой, чем дверь с противоположной стороны здания, и обитой обычным дерматином. Когда она открывалась, в зале все замолкали, и сгрудившиеся вокруг столов люди в полной тишине провожали взглядами тех, кто, едва показавшись из-за двери, старался побыстрее пробраться сквозь расступающуюся толпу.

Быстрый обмен взглядами, и очередной проситель, сидевший у самой двери, нерешительно поднимался, осторожно приоткрывал ее и спрашивал, можно ли войти. Когда он исчезал за ней, все пересаживались на скамейке в соответствии со своей очередью; никто не пытался пролезть вперед других.

Ну, и еще одно: время от времени на пороге показывался офицер с бумажкой в руке и, поднося ее близко к глазам, зачитывал чью-то фамилию, как правило, исковеркав до

неузнаваемости — не по небрежности, просто оттого, что фамилии писались от руки, а не печатались на машинке. Вызванный срывался в смятении с места и среди общего волнения, которое старались скрывать, тоже исчезал за дверью. Как в детской считалке с сакраментальным: раз-два-три, выходи на букву «и»!

В здании помещался центральный аппарат Народного комиссариата внутренних дел — НКВД. Точный адрес: Кузнецкий мост, 24.

Нет, никто нас сюда не приводил и не вызывал, мы были свободны. Правда, у нас взяли заложников, но мы были свободны. Еще в доисторические времена, при царе, каторжникам империи было положено носить на спине нашитые оранжевые ромбы, это называлось бубновый туз. Советская власть ликвидировала такие знаки различия, посчитав, что они унижают человеческое достоинство граждан. Тузы спрятали в рукава, и с тех пор они въелись нам всем в кожу.

Поэтому якоря и сердца, пробитые стрелой, накалывали на запястье или предплечье уже скорее для куражу, ради производимого эффекта. Татуировку без труда можно было сделать хотя бы на задах Тишинского рынка, прямо у забора, где величественные слепцы с застывшими лицами пророков гадали торговкам по руке.

Однажды, совершив выгодный обмен и доедая кулебяку, добытую у соседнего прилавка, я нахально протолкнулся сквозь скопление зевак и молча сунул руку в чьи-то тяжелые узловатые лапы. Мою ладонь повернули пару раз, как перышко, словно удивляясь ее необычной хрупкости, а я, зажатый толпой, понял свою ошибку лишь тогда, когда услышал этот услужливый и напыщенный голос, суливший мне всяческое везение, достаток и скорое замужество.

Я по-прежнему стоял с набитым ртом, заглатывая остатки начинки из риса и яиц, когда посыпавшиеся вокруг смешки прервали речь слепого на полуслове. Он умолк, озадаченный, и снова стал сосредоточенно ощупывать мою кисть, пока, наконец, не добрался до рукава пиджака. «На нарах сидел?» — спросил он деловито, совсем уже другим, сорванным и пропитым голосом, сильнее сжимая пальцы у меня на запястье. «Нет!» — крикнул я, пораженный, — в конце концов мне было всего тринадцать лет. «Ну так будешь сидеть», — торжественно пообещал слепой и вернул мне студенистый сгусток пульсирующей боли, который только что был моей рукой.

Тюрьма была здесь неотъемлемой частью человеческого существования, и одновременно она означала небытие, бездонную пропасть. Я, однако, не принял близко к сердцу предсказания. Слишком уж привычной стала для меня эта тема.

Из московских тюрем по-настоящему меня пугала Лефортовская, которая запечатлелась в памяти как окруженный стеной и колючей проволокой одинокий кирпичный остров, торчащий где-то у черта на куличках; огромный домина с покрытыми мрачной зеленой плесенью деревянными козырьками-намордниками вместо обычных окон с решетками. По сравнению с ней Бутырская тюрьма — в прошлом полковые казармы — казалась невзрачным, в меру разоренным домом отдыха. Но больше всего я сроднился с тем голубоватым, в бледные прожилки каррарским мрамором, которым были облицованы помещения бывшего страхового общества «Россия», а ныне — знаменитой Внутренней тюрьмы, в просторечии — по прежнему названию улицы и площади — Лубянки. Здесь я почти освоился, точнее, не здесь, а рядом, за углом, в доме под номером двадцать четыре, в приемной, где так строго соблюдалась очередь, что, если кому-то требовалось отойти в город за покупками, он непременно просил запомнить его.

С этим никаких проблем не возникало, тем более что уже спустя пару недель все лица в приемной казались давно знакомыми — то ли на них лежал какой-то общий отпечаток, то ли действительно у всех была такая хорошая память. Во всяком случае, узнавали друг друга даже в метро и на улице. Или не узнавали, в зависимости от обстоятельств.

Другое дело, что разговоры, которые велись с этими знакомыми, были поверхностны и состояли главным образом из полунамеков и недомолвок. Но там попадались и незнакомцы.

Они прибывали неизвестно откуда, из мест, названия которых можно было услышать разве что на уроках географии или вообще никогда не услышать. Они прибывали только затем, чтобы оказаться тут, в этой пристройке, за этой обитой дерматином дверью, в помещении, украшенном офсетным профилем Дзержинского на стене. Впрочем, это было единственное человеческое лицо здесь. По крайней мере, его черты вроде выражали какую-то благосклонность, даже доброжелательность. Ничего удивительного — Феликса Эдмундовича уже не было в живых, причем давно, что странным образом вызывало у нас симпатию к первому

чекисту, ибо исключало его из всеобщей игры в полицейских и воров.

Приезжие были разговорчивее нас — для них это еще не превратилось в рутину, и они, ошеломленные столичным шумом, рассказывали о своих перипетиях с волнением, с подробностями, реже — отстраненно, словно речь шла о ком-то другом, еще реже — безропотно и даже со смирением.

Завсегдатаи слушали их охотно и еще охотнее делились советами и предостережениями.

Я прислушивался к этим разговорам с любопытством, словно в который уже раз листал зачитанную до дыр книгу, правда, в ней одни и те же приключения происходили со всё новыми персонажами.

Однажды к нам затесался даже генерал при полном параде. Помню, как, войдя, он хотел снять шинель, но повесить ее было негде, он так и остался стоять в расстегнутой, и всем был виден парадный мундир и побрякушки на груди, пока ему не пришлось застегнуться, потому что входная дверь без конца открывалась и в помещении делалось всё холоднее. Генералы тогда были в диковинку, поскольку этот чин появился в армии лишь год назад, вот почему вновь прибывший привлек к себе всеобщее внимание, даже я в конце концов почувствовал смущение и уступил ему свое постоянное место у подоконника. Уже оказавшись в комнате за дверью, я заметил его у соседнего стола, напротив старшего лейтенанта в мундире с голубыми кантами на воротнике, говорившего что-то на повышенных тонах, в то время как генерал молчал, а на его лице проступал кирпичный румянец и тряслись подбородок и губы. Определенную переоценку ценностей я начал замечать уже раньше, но такое перевертывание иерархии с ног на голову по-своему впечатляло.

Когда спустя много лет я упомянул об этой сцене в беседе с генералом Нестеренко, счастливымчиком, который в отличие от многих своих ровесников вернулся живым из Мадрида, Норильска и Воркутлага, тот лишь принужденно улыбнулся и предпочел пропустить это мимо ушей. Наверно, восемнадцать лет вечной мерзлоты, рудников, валки леса и строительства железной дороги в тайге сделали его столь чувствительным именно к вопросам чести мундира. Но он простил мою бестактность, потому что питал ко мне необъяснимую слабость из-за украинского псевдонима, которым пользовался мой отец в том же Мадриде. А поскольку дело было уже в Варшаве и нужно было как-то продолжать не слишком удачно начатый

разговор, он задумчиво посмотрел в окно и вздохнул: «Если бы вы только знали, сколько поляков мы похоронили за Полярным кругом!» Когда же я пробормотал что-то о братской могиле, он перевел на меня удивленный взгляд: «Могила? Конечно, там полно могил. Но ваших офицеров клали под шпалы. От мороза трупы там становятся твердыми, как камень».

Но это было потом, в будущем, где действовали законы больших чисел, высшая математика, заполнявшая нелепую пропасть между арифметическим и геометрическим рядами Томаса Роберта Мальтуса формулами петли, ямы и западни, — высшая математика геноцидов, о которой в эпоху приемной я еще не имел ни малейшего представления.

Я только вступал в мир малых величин — чисел из школьных учебников. Кузнецкий мост имел свое число, а ближайшая улица Петровка — свое: тридцать восемь: это был адрес прокуратуры, где я высиживал часами перед кабинетом прокурора Кульчицкого, сгибавшегося под тяжестью польского звучания своей фамилии и еще не догадывавшегося, какую головокружительную карьеру он благодаря ей сделает сразу после войны, во время «процесса шестнадцати».

Эти малые величины были мне понятны, наверно, потому, что с ними возникало множество ассоциаций: то с числом лет грозившего срока, то с порядковым номером статьи Уголовного кодекса или с его параграфами, о которых мы все имели самое смутное представление. Пятьдесят восемь — один «а», пятьдесят восемь — восемь на одиннадцать, — так складывались эти уравнения. Измена Родине, террор, участие в коллективном заговоре. Но эти цифры еще только маячили на горизонте. Пока что я находился на этапе передачи денег в дежурке у ворот Лефортовской следственной тюрьмы, четыре раза в месяц. По пятьдесят и двадцать пять рублей, семьдесят пять на человека, вместе сто пятьдесят.

Таким образом можно было узнать что-либо о судьбе заложников. Ибо это всегда была лотерея: примут — не примут.

Если не принимали денег ни на Лубянке, ни в Лефортове, следовало попытаться счастья в других местах: в Таганке, Бутырке, Матросской тишине. Один-единственный раз я потерял мать, когда ее три месяца держали в знаменитой Сухановке, прозванной «дачей».

Именно из-за этих ста пятидесяти рублей я околачивался на Тишинском рынке с барахлом из родительского чемодана,

забытого под моей кроватью по оплошности бдительных карательных органов.

Все пути, однако, сходились тут, в приемной. Конечно, посещать здание с фасада тоже приходилось — опустить в ящик очередной перечень обид, жалоб и просьб в конверте с каллиграфически выведенным адресом. Пусть эти ящики в холле были явно предназначены для иного сорта корреспонденции и за анонимными дверями, покрытыми шпоном, нас ждал такой же анонимный и непроницаемый ответ, отсылающий нас обратно в пристройку во дворе, — что с того? Мы возвращались в уютную и до мельчайших деталей сохранившуюся в памяти приемную, чтобы заполнить канцелярские бланки датами, событиями, прежней биографией людей, реальное присутствие которых было внезапно сведено на нет, так что даже сама их жизнь оказалась под сомнением. Только здесь можно было узнать, а вдруг где-то там, в мире соображений высшего порядка и не подлежащих обжалованию решений, в этой последней инстанции, успели за неделю вынести приговор, полностью перечеркнувший их зыбкое существование.

Бланки раскладывали на столах и старательно заполняли в трех экземплярах.

Офицеры в комнате за обитой дерматином дверью менялись слишком часто, чтобы можно было составить о них какое-то мнение. Но они различались между собой, и завсегда и предпочитали попасть к тем, а не другим. Собственно говоря, трудно было определить, в чем была разница. Ответы, которые они давали, звучали почти всегда одинаково. «Идет следствие» или же «следствие продолжается» — ни один актер не смог бы выстроить роль на такой ничего не значащей реплике, а они не были актерами.

Однако, несмотря на это, в зале ожидания комментировали, разбирали, анализировали тысячи подобных ответов, пытаясь в расстановке акцентов найти намек на благоприятный или неблагоприятный исход дела.

В тот день мне не пришлось заполнять бланков. И я не прислушивался к разговорам. Я пришел за ответом и, как всегда во время ожидания, был не в состоянии воспринимать ничьи даже самые поразительные признания. Единственное, чем я мог себя занять — это предаваться воспоминаниям о родителях. Я представлял себе отца, потому что о маме боялся думать.

Отец, как и я, был неудачником. Ему просто-напросто ничего не удавалось. Сначала ему не удался его собственный отец, мой дедушка, чьи ошибочные взгляды и неправильная позиция привели к тому, что он стал бургомистром города Александрополя, который только после падения независимой Армении получил название Ленинакан. Потом потерпел фиаско бунт, поднятый им против дедушки в своем родном городе. А затем, после разных перипетий, пошла полоса сплошных неудач: у него не задалась ни Кантонская коммуна^[1], ни вся эта революция в Китае, не говоря уж о гражданской войне в Испании. Даже то, что он сумел жениться на моей матери, уже было предвестником поражения, если учесть плод этого союза, а именно: мою скромную, но столь наследственно отягощенную невезением особу.

Здесь мне следует добавить, что у меня тогда не было причин для довольства собой. Скорее наоборот. Дело даже не в отчаянном обивании порогов различных учреждений — меня все чаще терзал рабский бубновый туз, въевшийся в кожу. Нет, в моем поведении не было ничего предосудительного, оно всего лишь было неестественным. Я просто потерялся во всем этом. У меня взяли заложников, а я не сумел вызволить их из западни. Не дорос до ситуации.

И, сдавая контрольные работы по челобитным и прошениям, я чувствовал себя как щенок, оставленный на тряпке перед чужой дверью. Мне еще не приказывали ползти на брюхе, но уже велели подавать лапу и совали для поцелуя руку, которую я бы с большим удовольствием укусил.

Примерно до этой точки я дошел в своих размышлениях, когда распахнулась дверь и офицер с листом бумаги в руке вызвал меня. Он произнес мою фамилию без ошибок, четко и правильно, и, видимо, поэтому я не сразу понял, что зовут именно меня. А потом меня прошиб пот.

В пристройке было тепло и на улице тоже. Трудно поверить, но на прошлой неделе я шел сюда через реку, по крепкому, казалось бы, льду. И лишь когда я попытался перескочить через какую-то мелкую трещину, лед проломился, и, если бы не помощь прохожих, я не смог бы выбраться из полыни. Полдня я сох в очереди к окошку, куда сдавали заполненные бланки, и уже на обратном пути — на этот раз по мосту, на троллейбусе — увидел полностью свободную ото льда реку, где почти повесенному волновалась чистая полая вода. Только тогда у меня вдруг перехватило дыхание, и я еле доплелся до дому на подгибающихся ногах.

Так вот, это был тот же страх. По крайней мере, похожий — парализующий. Перед дверью я еще успел подумать: произошла какая-то ошибка, и замешкался на пороге, предполагая, что это сейчас выяснится.

— Чего еще вы ждете? — спросил офицер. Теперь, когда он уже сидел за столом, мне показалось, что это тот старший лейтенант, который тогда отчитывал генерала. Поскольку у того тоже было что-то не в порядке с глазами.

Офицер сверлил меня взглядом, и я в свою очередь пытался украдкой всмотреться в это лицо, но, взбудораженный, видел его то как в выпуклом, то как в вогнутом зеркале. Лишь опершись о край стола, я убедился, что никогда раньше не встречал этого человека.

— Садитесь, — сказал офицер и кивнул на стул. Я в молчании смотрел на его красивые пальцы с коротко стриженными ногтями, которые ловко перебирали стопку бумажек. Я узнал заполненные моим бисерным почерком бланки, прежде чем он перетасовал их еще раз и разложил передо мной.

— Что вы тут написали? — спросил он.

Я пододвинул к себе один из листков и торопливо начал читать.

— Я не об этом спрашиваю, — дернулся офицер, по-прежнему глядя на меня не то с неприязнью, не то с отвращением, и стукнул пальцем по строчке «фамилия, имя и отчество». — Здесь что вы написали!

Это была анкета матери. Я громко зачитал ее фамилию, имя и отчество.

— Я спросил — что вы тут написали? Это что такое? — он подчеркнул ногтем первую букву в имени моего люблинского дедушки Генрика. — Или вот это! — он ткнул в другую анкету — и тоже в начальную букву имени, полученного александропольским дедушкой Гегамом в честь одной из горных цепей, разбросанных по Армении.

— Буква «Г», — ответил я, не кривя душой, поскольку в русском языке оба имени пишутся через «Г» и так же произносятся.

— Это строчная «г», — объяснил офицер. — Строчная! А имена пишутся с большой буквы!

Он снова уставился на меня, а я на него, пока наконец не понял, что именно было у него не в порядке с глазами. Они были белые. Будто совсем без зрачков — пустой взгляд из-под опухших век. Много лет спустя мне снова довелось увидеть подобный — на таком же бледно-розовом и гладком, будто только что вынутом из банки со спиртом лице председателя правления Союза советских писателей Александра Фадеева.

— Строчная «г»! — повторил офицер и с неудовольствием покрутил головой, из-за которой косил на меня с портрета Железный Феликс, гравюрный поляк, рыцарь без страха и упрека, защитник вдов и сирот. — Это что же?! — он навис над столом. — Собственных родителей не уважаешь?!

Да, это была именно та минута. Искры короткого замыкания и треск предохранителей, когда вышибает все защитные системы, страх улетучивается и с непослушных губ срываются невнятные жалкие слова. Или момент просветления, кому как угодно. Ибо — ощущавший бубнового туза на шкуре не хуже, чем эта бубновая карта свою крапленую рубашку — я в ту секунду увидел почти как в фотовспышке нечто, удержавшее меня, и я не выкрикнул тех слов.

Сидевший напротив меня человек в мундире с голубыми кантами не был случайным сотрудником справочного бюро НКВД, он был офицером следственной части. Следователем моей матери! Совершенно точно не отца, а именно матери! И во всем, что касалось меня, для него не было секретов.

Конечно, я еще не знал, что его фамилия Николаев и что он получил эту небольшую передышку после трехнедельных трудов на круглосуточном допросе, так называемом «конвейере», не давшем абсолютно никакого результата. И я не знал, что мать уже находится в тюремной больнице, временно уйдя из-под влияния не только следственных, но и судебных органов.

Я понимал одно: для нее я, я был заложником, такова была наша взаимозависимость. И с этим человеком за столом меня связывала какая-то непостижимая, мистическая, чуть ли не интимная связь... Страх возвращался с черного хода. Даже несколько страхов, один вытеснял другой, и конкретный, ощутимый брал верх над метафизическим.

Я молчал, склонившись над анкетой.

— Не уважаешь собственных родителей, — повторил задумчиво офицер.

Теперь он сидел неподвижно, в хмурой задумчивости, а я не мог отделаться от навязчивой мысли, что аскетический профиль Феликса Эдмундовича над его головой напоминает рыцаря печального образа с картинки в книжке, которая лежала у меня в ранце. Не исключено, что сей благородный лаконичный штрих был сделан в той же мастерской, вышел из-под руки того же художника.

«Ему в самом деле важно, чтобы я уважал своих родителей», — пронеслось у меня в голове. На меня внезапно накатила ужасная усталость. Жизнь была слишком сложна. И противостояние ей требовало непомерных усилий. Мурашки на спине складывались в фигуру бубнового туза. И мой собеседник, хотя на нем лежала тяжкая обязанность доискаться скрытой правды, желал лишь одного — чтобы я, несмотря на несчастье, которое постигло моих родителей, сохранил к ним остатки сыновних чувств.

Руку, поднесенную для поцелуя, невозможно было укусить. И поцеловать тоже. Если б ее можно было, по крайней мере, полюбить. Тогда всё стало бы на свои места.

Я уже любил ее.

Ну, возможно, я немного преувеличиваю. Но лишь чуть-чуть.

Да только этот офицер, этот Николаев, совершенно ничего не заметил. Должно быть, я как-то не оправдал его ожиданий. Он явно потерял ко мне интерес.

— Буква «Г» пишется так, — сказал он и показал мне, как пишется буква «Г».

Она отличалась от моей и начиналась с большой завитушки, почти как в прописях.

— Так надо писать! — показал он. Я молчал.

— Сколько тебе лет? — захотел удостовериться он. И уже не глядя на меня, совершенно разочарованный, уставился в какую-то точку поверх окна.

Я ответил на вопрос и попытался исправить букву «Г».

— Нет, нет! Забирай это. Так не годится, — сказал он. — Родителей надо уважать, — повторил он с нажимом, но уже без особой убежденности.

Он еще раз взглянул на меня, стоящего перед его столом с рассыпающимися в руках бумажками, и покачал головой.

— Иди, иди, — повторил он. — Иди и заполни все заново.

Январь-март 1989

Перевод Марины Курганской

1. Вооружённое выступление, организованное компартией Китая против Гоминьдана в Гуанчжоу (Кантоне) в 1927 г.

СОЛИСТ

— «Красный оркестр». Почему ты написал эту книгу? Почему решил через столько лет рассказать о своем московском детстве польскому читателю?

— Я знаю, что эта книжка в какой-то мере запоздалая. Я даже написал в посвящении моему товарищу, которого знаю почти полвека, что книжка опоздала по меньшей мере на столько лет, сколько мы с ним знакомы. Я начал ее писать после военного положения, во второй половине 80-х. Тогда я уже мог ее нормально издать, в «Новой», которая как раз выходила из подполья. До того я писал такие, неудачные, впрочем, вещи, в стол... И вот из этих написанных в стол вещей как-то родилось начало «Красного оркестра»

А почему я написал? Это было желание понять собственную биографию. Понять и показать, каким путем развивалось мое сознание с детских лет. Почему я делал такой, а не другой выбор? Что было моей *idée fixe*? Обо всём этом — в «Красном оркестре». Но это рассказ не о страшном детстве, а о том, как кристаллизовались мои взгляды и позиция, почему и под воздействием чего.

— Когда я первый раз читала твою книгу, несколько лет назад, то самым главным в ней мне показался рассказ об открытии «польскости» и польского языка. Это так и было? Какой твой первый язык?

— Армянский, но я его не помню. Забыл сразу, потому что это было в самом раннем детстве. Потом был русский, а как начинался польский — я рассказал в «Красном оркестре». Главным для меня были тогда книги, которые остались после моего двоюродного брата. Они меня очаровывали, но я не мог читать, потому что никак не получалось разобраться с алфавитом. Потом постепенно начал что-то понимать и дошел до Сенкевича. Это был второй том «Потопа». Параллельно была еще Конопницкая и, конечно, какие-то учебники польского языка, но это была такая тоска, из них ничего нельзя было понять. Оставалось только читать. И я читал.

— Сколько тебе тогда было?

— Тринадцать, потом четырнадцать. Меня это очень интриговало. Польский язык звучал в доме, мама

разговаривала по-польски с сестрой, моей тетей, а я ничего не понимал! Гости, которые к нам приходили, тоже говорили на этом языке. Так что в какой-то мере я с польским освоился... Это было дыхание другого мира! В Москве, которая — во всяком случае для меня — была в это время довольно неинтересной (это была уже военная Москва), единственное, что мне оставалось, — это чтение. Я читал очень много, читал в библиотеке, в читальном зале, — там было тепло, и я туда часто ходил. Много читал и дома. Помню, как в читальном зале добрался до «Отверженных» и как поразил меня при чтении удивительные слова, которые выкрикивает один из героев: «Да здравствует Польша!» В Париже, во время революции сорок 1848-го, — это производило впечатление! Я почувствовал, что это что-то очень важное.

— Кем был твой отец?

— Я потерял его очень рано. В моей памяти он остался и как человек очень мне близкий, и как далекий, в том смысле, что я просто мало его знал. Его звали Татос, Тадеуш. Я помню, что он много мне читал вслух. Преимущественно что-то из английской литературы, сразу переводя на русский. Он знал больше десяти языков. Окончил армянскую семинарию в Тбилиси, но, в общем-то, был самоучкой. И писал стихи по-армянски.

У него для меня было не слишком много времени, однако то, которое он мне уделял, было для меня очень важным. Об отце мне рассказывали его товарищи, те, кто выжил. И два его брата. Отец был старшим.

Он был коммунистом. В молодости, во время армянской резни, они с братом спаслись бегством, пробираясь через турецкую территорию. Брат потерялся, нашелся через много лет как *беспризорный*. Отец сумел убежать, и это в какой-то мере его сформировало — то, что он пережил в молодости. Безусловно, поэтому он и стал коммунистом, хотя его отец, мой дед, был социал-демократом, а вдобавок городским головой в Гюмри — это старое название их семейного гнезда, этот город в царское время назывался Александрополь, а при большевиках — Ленинанкан. Отец был одним из организаторов восстания в городе, взбунтовался против собственного отца, а потом уже так и пошло: оказался в Красной армии, которая воевала в Азербайджане. Потом работал в профсоюзах, много писал, преимущественно о международном профсоюзном движении. Он был в Китае во время гражданской войны, в Испании во время гражданской войны, так что у него очень интересная, на мой взгляд, биография. А каким он был на самом деле — не

имею представления, потому что потерял его, когда мне было тринадцать лет. Я помню только довольно драматический эпизод, когда отец приехал в Москву из Испании недели на две и неизвестно было, не будет ли он арестован, потому что всех его знакомых и друзей уже забрали. Я видел его одиночество. Невероятно, но даже мне, ребенку, тогда открылась сущность его трагедии. Хотя я и не осознавал в полной мере глубину его одиночества, но по его поведению видел, насколько он изменился. Он не разрешил даже проводить себя на вокзал. Это был конец 1938 года. Но тогда его не забрали; он еще на некоторое время вернулся в Испанию, а когда возвратился, его сразу арестовали. Это было в день заключения пакта Риббентропа—Молотова, 23 августа 1939 года. И для меня навсегда связались фотография из «Правды» с улыбающимся Риббентропом и улыбающимся Сталиным — и исчезновение отца.

— Ты родился в Шанхае в декабре 1926 года. Что забросило туда твоих родителей?

— Отец поехал в Китай делать революцию, а мама решила, что восьмой месяц беременности — это самый подходящий срок, чтобы последовать за ним. В это время произошел переворот Чан Кайши, в Шанхае как раз наступил период самых кровавых столкновений. Есть такая почти репортажная книжка Андре Мальро «Завоеватели», и там есть сцена бегства из Шанхая русских советников. Мальро описывает, как они из рук в руки передают ребенка, младенца, чтобы доставить его на отплывающий корабль. И этот ребенок — это я! Я проверял по документам — никаких других младенцев в это время там не было. Наверное, понятно, что о городе своего рождения я немного помню.

— Отец был арестован в августе 1939 года. А известно ли, когда он погиб?

— Я только несколько лет назад узнал. До этого называли несколько дат. Все фальшивые, чтобы отвязался. Известно, что он погиб уже после начала советско-немецкой войны. Два с половиной года его держали под следствием, очень долго; это потому, что он не сломался, что ничего от него не добились. Так следует из документов. Я не знаю, чего от него хотели, маму обвинили попросту в том, что она проиграла войну в Испании — ни больше ни меньше. Отца убили осенью 1941 года. Приговор был «десять лет без права переписки», это тогда было такое закамouflированное название расстрела. Маме в это же время дали восемь лет, а это значило — жизнь. Первую весточку от

нее я получил только через несколько месяцев после приговора: что она в лагере в Потье.

Меня не было дома, когда арестовали отца, но я хорошо помню день, когда забрали мать. Это был июнь 1940 г., меньше года после ареста отца, все это время она забрасывала НКВД письмами с протестами.

Я помню это июньское утро, когда за ней пришли. Три-четыре часа утра. Всегда приходили на рассвете. Она мне велела лежать в кровати, когда обыскивали квартиру. А когда ее уже вывели из дома и я остался один на один с агентами, которые проводили обыск, один из них нашел в моей комнате среди игрушек кобуру от отцовского пистолета. Это была моя любимая игрушка. Пистолет отец получил в награду от испанского правительства, на нем даже была выгравирована соответствующая надпись. Я не раз, еще до ареста отца, тайно играл с этим пистолетом, и какой-то мой дружок подговаривал меня пойти пострелять из него в нашем дворе. Но, к счастью, крупницы разума во мне тогда взяли верх, и обошлось без такой эскапады.

А сейчас этот энкаведешник стал на меня наседать, где я спрятал пистолет. Меня это одновременно разозлило и рассмешило: понятно же, что пистолет забрали во время предыдущего обыска, при аресте отца.

И я начал смеяться. У меня был просто приступ смеха! Не знаю, была ли это истерика, но помню, что до меня дошла тогда вся абсурдность этой ситуации! У меня, тринадцатилетнего мальчишки, этот энкаведешник выпытывает, где пистолет! Я не мог перестать смеяться, а он, не понимая такой реакции, спрашивал и спрашивал. Наконец забрал кобуру и сам убрался.

— Какой добрый...

— Как в том анекдоте о Ленине... Нет, не так уж было страшно, самое большее — меня могли забрать в детский дом, но меня спасла тетя, которая официально оформила надо мной опеку.

Говоришь, добрый... Ну, не знаю... Во всяком случае, они были явно невнимательны. Когда пришли за мамой (пока ее еще не увели), в дверь позвонила соседка, одна из часто навещавших маму жен арестованных... Тетя открыла и сказала, что это ошибка, не тот номер квартиры, а эти вообще не обратили внимания. Всё это было как-то непрофессионально.

При аресте обычно вызывают понятых — так требует процедура. Они должны быть вроде свидетелей. И понятые чувствовали себя этим польщенными, а с другой стороны, между нами устанавливалась какая-то довольно близкая связь: ведь они присутствовали при самых важных, интимных для нас событиях — лишении человека семьи. Эти понятые потом были ко мне очень нежными и милыми, а я знал, что они шпики и доносчики. Так мы и жили.

А вообще аресты были в порядке вещей. О них знали все, и это могло случиться с каждым. Я не был исключением. Напротив нас был дом, в котором жили военные. И я помню, как в нем постепенно, почти изо дня в день, вечером всё меньше зажигалось окон... И наконец уже в этом большом доме осталось только одно окно, в котором горел свет. Брошенный, выпотрошенный дом.

— Это всё казалось тебе обычным и нормальным, потому что ребенок принимает действительность такой, как она дана ему. И пробует к ней приспособиться. В твоём рассказе о детстве ты объясняешь это читателям: вот таким был мир этого мальчика — ненормальным, больным, испорченным, но в нём нужно было жить.

— Такое было время. Собственно, время смерти. Ещё не той, военной, а этой, ежедневной. И с этим надо было жить. А как — неизвестно... Я не мог с этим смириться, бунтовал. И, конечно, выражением этого бунта для меня тогда стало писание стихов. Писал я прежде всего о себе. В этих стихах я обычно представлял в образе щенка, у которого убили мать, щенка, готового кусать всех подряд.

Надо добавить, что тюрьма тогда в России означала смерть, полное исчезновение человека... И я находил спасение в этих написанных по-русски стишках. Мне было тринадцать лет, и поэзия была каким-то способом осознать все то, что происходит вокруг.

А что ещё оставалось делать? Другим видом бунта было бегство в чтение книг. Я читал «Войну и мир» Толстого и полностью погружался в другой мир. Впрочем, все тогда читали. И во время войны я целые дни проводил в читальне, в библиотеке. Это была библиотека имени Сталина, а как же! Она помещалась в соседнем доме, там было тепло, а дома холодно, отопление не работало, а снаружи температура доходила до — 40. У меня были рукавицы, я их не снимал, потому что обморозил руки. Я сидел в библиотеке в пальто и рукавицах и читал всё подряд. Один раз у меня случился невероятный приступ смеха при чтении

книги, это был, кажется, Диккенс, и какой-то эпизод заставил меня громко рассмеяться. И я не мог остановиться, хотя все вокруг стали на меня оглядываться. Это было ужасно, потому что тогда — не только в этой библиотеке, но и везде — я старался быть невидимым, мечтал исчезнуть.

— Для мальчика в твоём возрасте самое большое несчастье, которое только может с ним случиться, — это арест родителей.

— Я очень это переживал, очень болезненно. Но, как ни парадоксально, в этой Москве военного времени я обретал чувство свободы. В том смысле, что чувствовал себя свободным от всего. На меня неожиданно нисходило оцепенение, безразличие. Мне было всё равно: убьют, арестуют — всё равно. Да и, по правде говоря, после начала войны наступило какое-то облегчение, неожиданно перестали заниматься нами, несчастными гражданскими из подозрительных семей в тылу. Ненадолго, очень ненадолго, но наступила какая-то передышка. Перед тем, как снова стали закручивать гайки, был такой момент развала империи.

— Символ этого несчастья в «Красном оркестре» — опломбированная после ареста родителей комната с оставшимся за запечатанной дверью всем миром жизни и детства.

— Этот мир застыл и умер за той дверью. Поэтому таким потрясением было для меня вторжение в него людей, которые хотели завладеть им, вместе с комнатой родителей, захватить вещи, пользоваться духами мамы, да ещё решать нашу судьбу. Я говорю о появлении в нашей квартире, в сопровождении милиционера, некой дамы из райсовета, которая весьма бесцеремонно начала в ней хозяйничать.

— И ты, возмущённый поведением этой женщины, которая хотела завладеть бывшим твоим миром, пошел в НКВД и, грубо говоря, подал донос на даму-депутата и сопровождавшего ее милиционера.

— Первый и последний донос в моей жизни. У меня не было выхода. Это была борьба за выживание. Это с дистанции времени выглядит весьма странным: науськать НКВД на милицию. Если бы не грубость и хамство этих непрошенных гостей, я бы на это не решился. Но я хорошо знал тот дом. Я часто туда ходил, чтобы узнать о судьбе отца и мамы. Только для нас, спрашивавших о судьбе близких, вход был со двора: какой-то гнусный зал ожидания, в котором проводишь долгие

часы в очереди. А вот когда я отправился с жалобой на милицию, в качестве защитника закона, то вошел через главный вход, с мрамором, просторными коридорами и респектабельными кабинетами... Наверное, там по сей день ничего не изменилось. Тот же самый департамент до сих пор там процветает...

— Ты направился к своему врагу, который лишил тебя родителей, потому что еще страшнее для тебя была эта баба, которая вторглась в эту святую комнату и хотела захватить всю квартиру?

— Да. Она была не менее страшной. В определенной мере я отдавал себе отчет, что лечу тиф холерой. Ну и, наверное, в том, что по сути дела довольно забавно, как в сражении за эту комнату и оставшиеся там вещи родителей столкнутся две мощные властвующие над нами силы — милиция и НКВД.

— Мама отсидела свои восемь лет?

— Пять с половиной. Ее выпустили раньше, летом 45-го, — думаю, что по вмешательству самого Берута, они были знакомы еще по Люблину. Тогда начали выпускать поляков из лагерей, и мама через знакомую передала свои данные, необходимые для освобождения. Потом, через несколько недель, она уехала в Польшу, а я оставался в Москве. Окончил школу и поступил в мединститут. В Польшу я приехал только в июле 1947 г., еще как советский гражданин, по приглашению матери. Мне дали паспорт на три месяца, и я полетел самолетом. В брюках, перешитых из старых форменных брюк отца и в шляпе, потому что тетя заявила, что не отпустит меня в Польшу без шляпы. К счастью, мама уже в аэропорту велела мне снять этот элегантный головной убор. А брюки по дороге порвались. С того времени я никогда не носил шляп.

— А почему ты так поздно решился на выезд?

— Думаю, что я боялся Польши. Во мне была закодирована легенда Польши, но я был привязан к русской действительности. Я в ней жил и не знал другой. Имело значение и то, что я писал стихи по-русски.

— Ты помнишь свою первую встречу с Польшей?

— Еще из окна самолета я увидел море развалин. Это было потрясением. Потом я много ходил по городу. Кирпичная пыль, разбитые дома со следами исчезнувших квартир. Невероятное

впечатление. Варшава в своем тогдашнем виде, после восстания, пугала.

Я поселился у мамы на Буковинской улице, у нас была комната с кухней. Я решил и дальше изучать медицину. И оказался в другом мире. До той поры я жил в советской лагерной атмосфере, Польша означала для меня свободу. Ну, и было интересно. Но прежде всего, после русских реалий, — оазис свободы. Невероятный прыжок в нормальную страну. Я не понимал ни сложности здешней ситуации, ни католического общества (я был атеистом в расхожем значении этого слова), но всё было интересно. И это ощущение свободы было самым главным. В СССР меня не оставлял страх. Например, страх ареста — казалось бы, неминуемого. А здесь я почувствовал себя как человек, выпущенный из тюрьмы. И я захлебывался этой свободой, захлебывался «Народной Польшей», в которой был другой коммунизм, другой социализм, всё здесь было иное, чем в России. И мне казалось, что все может пойти другим путем. Я был в этой своей реакции довольно наивен, даже по-детски, и многое до меня доходило очень медленно. Но в любом случае не было в моей жизни минуты, когда бы я пожалел о приезде и смене гражданства.

Говорить по-польски я начал довольно скоро. Возник круг друзей. Некоторые приехали из России, с другими — с Витеком Ворошильским, Витеком Домбровским и Лешеком Колаковским — познакомился в Варшаве. Медицина интересовала меня довольно умеренно; я начал писать стихи, поначалу еще по-русски, а потом по-польски. Взгляды мои, что в моем случае, наверное, понятно, были очень левыми, но как-то так получилось, что я вращался в среде, которая со временем стала диссидентской.

Важное замечание. Мне было не так уж просто адаптироваться. После травмы от НКВД даже польская «Безпека» (органы госбезопасности) казалась мне чем-то другим... Ясное дело, что я не имел никакого представления о советских советниках и даже написал стихотворение, в котором хотел подчеркнуть, что это польская госбезопасность. Польская — значит, другая! Я не умел еще найти правды, кроме большевистской. «Советскость» я выдавливал из себя по капле. И ничего удивительного, что самым счастливым днем для меня стал день ареста Берии, потому что я знал, что это начало конца.

О неожиданной встрече с Берией и о том, как мое движение при виде его показалось его охране слишком подозрительным, я вспоминаю в «Оркестре». И вообще мне не везло с советскими сановниками, а в Польше со мной произошел и более нелепый

случай. Это в какой-то мере было связано с арестом родителей и даже с той несчастной кобурой, с которой я когда-то играл.

У меня с момента этой конфискации появился свой «пунктик», а именно: иметь настоящий пистолет, даже не для того чтобы, в соответствии с мечтами детских лет, перестрелять тех, кто забрал у меня отца и мать, но из обычной сентиментальности. И был такой старый знакомый отца, еще по Испании, человек, как бы сказать, военный, который знал о том, как НКВД конфисковало у тринадцатилетнего мальчика хранившуюся у него с неизвестными целями кобурку. И этого человека посетила не слишком трезвая мысль подарить мне «Вальтер» 6,35. Он мог это сделать — и сделал. Прекрасная игрушка! Я радовался как ребенок, хотя мне было уже за двадцать. И, конечно же, мне хотелось его поскорее опробовать. И вот я в один прекрасный день сбежал с лекций, чтобы направиться в ближайший лес. Я шел от Буковинской в сторону Вилянува. Шел себе, гуляя по обсаженной деревьями аллее с пистолетом в заднем кармане брюк, и вдруг неожиданно понял, что вокруг происходит что-то явно необычное. Улица пуста, ни одного пешехода, никакого движения, зато крутится вокруг немалое число граждан вполне понятной профессии, которые смотрят на меня с профессиональным же интересом. Делаю еще несколько шагов — и вдруг вспоминаю, что в Варшаву прибыл с неожиданным визитом Молотов, вспоминаю газетные заголовки, из которых следует, что он остановился именно в Вилянове. И я уже не иду, радостный, посреди улицы, а останавливаюсь, потому что до меня доходит, что это охрана Молотова, польская или советская, которая, скорее всего, принимает меня за своего коллегу со стороны партнера, с этим пистолетом, нахально болтающимся в заднем кармане брюк! Я ретировался под их внимательными взглядами тем скорее, что у меня даже не было разрешения на оружие. Домой я вернулся, порядком перетрусив. А через несколько дней оказалось, что в пистолете сломан боек, так что и из покушения ничего бы не вышло. Я вернул его дарителю. Это было мое «Прощай, оружие!». И с комплексом пистолета я распрощался навсегда.

— А когда ты понял, что ты не пойдешь дальше по этой коммунистической дороге, что это уже конец?

— Это был 1957 год. Я перестал писать, перестал печататься. В определенном смысле замолчал. На двадцать лет. Но из партии я вышел только в 1976 году. Помню, что протест против изменений в конституции я подписывал еще как член ПОРП. Так как-то получилось. Наверное, я не хотел огорчать мать,

которая была правоверной коммунисткой, потому что для нее это была вся ее жизнь и жизнь моего отца. Если бы я тогда знал, что мама перед самой смертью, уже во время военного положения, проклянет коммунизм! Я пробовал разные уловки, чтобы меня исключили из партии, не платил взносы, не ходил на собрания, но, увы, меня не хотели исключать. С 1968 г. мне как оппозиционеру было запрещено публиковаться, но из партии меня, к сожалению, не исключили. Так что я стал снова писать. Запрет на публикацию сняли только в 1976-м, я тогда издал книгу стихов и вышел из партии. А потом мне снова запретили печататься, до 1981-го. Как только запрет ненадолго сняли, я издал в «Чительнике» очередную книгу — «Экзорцизмы».